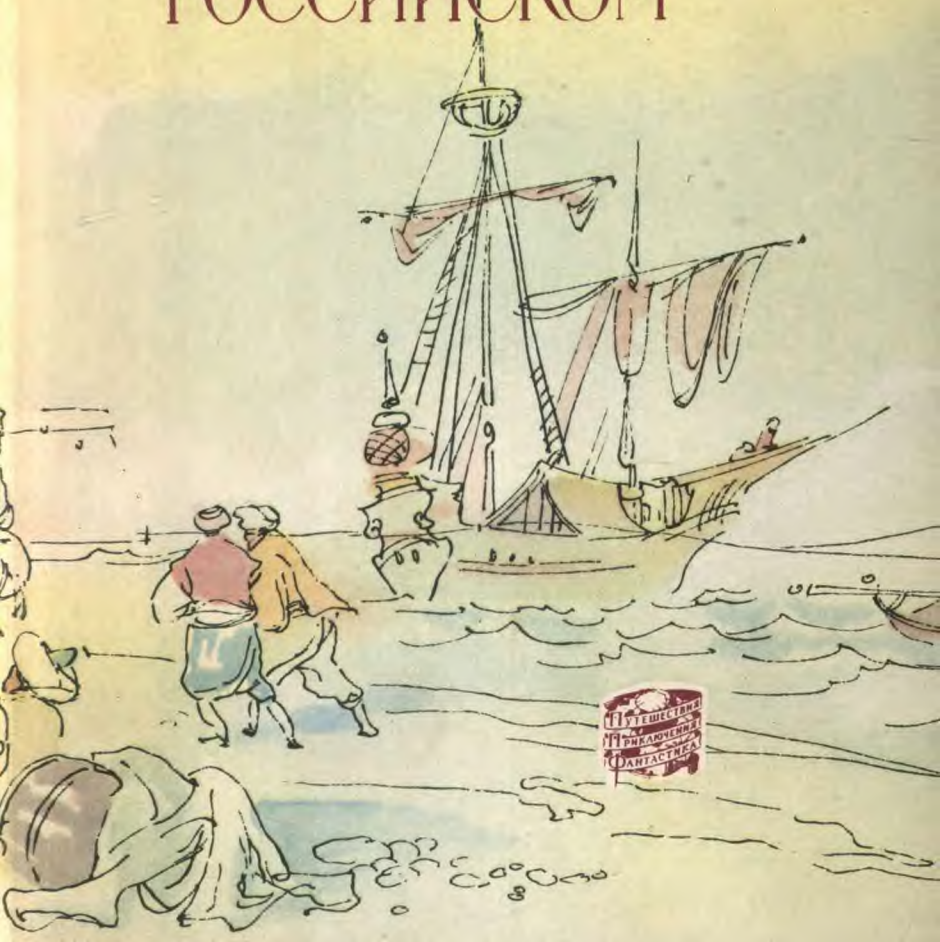


Р. А. Штильмарк

ПОВЕСТЬ О СПРАННИКЕ РОССИЙСКОМ



Удивительные приключения нижегородца Василия Баранщикова, совершившего в конце XVIII века вынужденное путешествие из России в Южную Америку и оттуда через Атлантический океан в Средиземное море, Северную Африку, Турцию, Грецию, Болгарию, снова в пределы России, с долгим пребыванием в плену и рабстве, легли в основу документальной повести Р. Штильмарка. Книга рассказывает о мужестве и доблести простого русского человека, волею судьбы заброшенного в дальние края, о его поразительной находчивости и острой наблюдательности.







Путешествия Приключения Фантастика



Р.А.Штильмарк

ПОВЕСТЬ О СПРАННИКЕ РОССИЙСКОМ

Государственное издательство
географической литературы
Москва 1962

Послесловие
академика *Н. И. КОНРАДА*

Художник *Б. П. СВЕШНИКОВ*

О Нижний! Мининым прославленный стократ,
Не всякий ли тебе уступит в этом град?

Рад будет уступить и сердцем и устами,
Зря на Кулибина своими очесами.

Вот Нижний каковых на свет людей рождает,
Баранщикова-свет еще ли свет не знает?

Эхо: знает!

*Стихотворение „Нижний Новгород“
нижегородского поэта XVIII века Орлова*

ОТ АВТОРА

Первым русским путешественником в Южную Америку, или, во всяком случае, одним из первых, был нижегородец Василий Бараншиков. Все виденное он изложил в книге «Нешастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света — в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 гг.»

Сведения, сообщаемые им, были новостью для русского читателя. За четыре года книга его выдержала три издания.

Журнал „География в школе“, 1947, № 6.

Судьба нижегородца Василия Баранщикова была поистине необыкновенной! Второй гильдии купец, вольный человек в своем отечестве, он стал в 1780 году жертвой европейских работорговцев. На протяжении семи лет ему пришлось испытать участь солдата датских колониальных войск, невольника на испанских плантациях в Вест-Индии, пленника турецких пиратов в Палестине, портового грузчика в Стамбуле, матроса на греческом судне, янычара султанской дворцовой стражи, узника долговой тюрьмы в екатерининской России и, наконец, прослыть российским литератором.

Калейдоскоп приключений, бегло и протокольно изложенных в маленькой книжке Баранщикова, казался столь неправдоподобным, что некоторые русские литературоведы подвергали сомнению не только подлинность событий, послуживших канвой книжки, но и реальность существования самого купца Баранщикова. Так, известный библиограф П. Н. Петров в шестом томе «Критико-биографического словаря» под редакцией Венгерова высказывает мнение, что Бараншиков Василий — лицо вымышленное, а его книжка — не что иное, как роман, написанный петербургским литератором и путешественником Федором Каржавиным. Эту точку зрения П. Н. Петрова считали убеди-

тельной и сам Венгеров и некоторые другие литературоведы *.

Действительно, никаких документальных данных о Василии Баранщикове в распоряжении исследователей не имелось, а отдельные эпизоды его книжки просто повторяют традиционные мотивы старинных авантурных романов, в частности сочинений романиста Федора Эмина, популярных в XVIII веке. Давно предполагалось, что «Нешастные приключения» написаны не самим купцом-странником, а кем-то из тогдашних сочинителей (см. «Энциклопедический словарь» А. Плюшара, 1838). Главное же, что даже подлинность личности героя внушала исследователям серьезные сомнения.

Однако среди старинных документов, скопированных в «Действиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии» (Нижний Новгород, 1900, том IV, стр. 108—110), нашлись два бесспорных доказательства не только подлинности самого Баранщикова, но и достоверности главных событий его повествования.

Первый документ — сообщение киевского наместнического правления нижегородскому губернскому правлению о переходе российской границы в районе Васильковского форпоста близ Киева нижегородским купцом Василием Баранщиковым, «вышедшим из плену».

Второй документ — подлинный полицейский протокол «допроса, снятого с нижегородского купца Василия Яковлевича Баранщикова, явившегося добровольно из-за границы».

Эти бумаги служат документальным подтверждением истории купца Баранщикова, изложенной в его «Нешастных приключениях». Документы свидетельствуют, что Баранщиков сдал на пограничном кордоне два иностранных паспорта (испанский с острова Пуэрто-Рико и венецианский), продемонстрировал беглое знание испанского, турецкого и итальянского языков и позволил скопировать для опубликования в своей книге одиннадцать клейм на собственном

* Например, комментатор «Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова, В. Н. Рогожин (часть IV, стр. 141).

теле. При помощи этих клейм иностранные рабовладельцы, а также некоторые духовные лица зримо засвидетельствовали свое «священное право собственности» на его тело и душу.

При сопоставлении этих документальных и вещественных доказательств с содержанием книжки «Нешастные приключения» можно без особого труда, сообразуясь с реальными историческими событиями того времени, отсеять элементы вымысла и литературной безвкусицы из автобиографического повествования Баранщикова. В результате в его лице перед нами вырисовывается привлекательная фигура простого русского человека из народной среды, сохранявшего на чужбине несокрушимый оптимизм, веселый и добрый нрав, а главное — горячую, от самого сердца идущую любовь к родной России, упрямое стремление вернуться в свое отечество, несмотря ни на какие преграды.

Бросается при этом в глаза его благожелательное, дружелюбное отношение к народам других стран. Он внимательно присматривается ко всему, что было для него ново в чужих землях, стремясь почерпнуть полезное, делая это без тени высокомерия или, напротив, низкопоклонства. Герой автобиографической книжки «Нешастные приключения» представляется нам человеком гуманным, любознательным, смекалистым, лингвистически одаренным, с присущей русскому простолюдину сноровкой к любому делу, с купеческой хитринкой и грубоватым юмором. Самолюбование и хвастовство ему чужды. Эти нравственные качества высоко поднимают Василия Баранщикова, нижегородского мещанина, над современной ему средой фонвизинских бригадирш и недорослей. В беде он не падает духом, при кратковременных удачах не зазнается. На чужбине у него подчас заводились и немалые деньги, дорогие вещи, ценности; временами русскому удалцу представлялась полная возможность создать себе безбедное существование. Приятная наружность, сила и ловкость обеспечивали ему успех у женщин, но он, скорее, избегал, чем искал такого успеха. Ничто не было ему вдали от родины!

И ведь отлично знал Василий Баранщиков, что дома ждут его суровые кредиторы, расплата по дол-

гам, налогам, податям. Он мало надеялся на снисхождение заимодавцев и тем не менее, рискуя жизнью, подвергая себя опасностям, тяготам и лишениям, упорно шел к одной цели — воротиться в свой Нижний Новгород, обнять жену и детишек, вдохнуть снова «русский дух».

Наша небольшая документальная повесть расскажет читателям о необыкновенных приключениях и странствиях Василия Баранщикова. Там, где конкретные сведения источников были слишком бедными, автору приходилось прибегать не столь к вымыслу, сколь к домыслу, основываясь на реальной обстановке действия.

Автор надеется, что в отзывчивых сердцах советских читателей найдется местечко для скромного героя этой книжки, проявившего немало стойкости в беде, дружелюбия по отношению к угнетенным людям, отвращения к колониальному разбою. Думается, читатель согласится с автором в том, что тяжестью испытаний, выпавших на долю Василия Баранщикова, он выстрадал себе право на память земляков-потомков.



СЫН КУПЕЧЕСКИЙ

На древнем Неро-озере, в сельце Угодичах, стали на ночлег проезжие купцы, все — попутчики до Ростова, на ярмарку. Местный старожил из крепких мужичков, некогда сам промышлявший извозом, принял на постой сразу четырех гостей. Приют у него нашли: средней руки прасол из Юрьева-Польского, купец из Вязников с двумя возами тонкого льняного полотна, приказчик московской посудной лавки с одним-единственным возом этого хрупкого товара да еще молодой нижегородский купчик. Их подводы, укрытые рогожами и заботливо увязанные, хозяин кое-как разместил на открытом дворе; распряженных лошадей поставили под навес, благо, морозы миновали: шла вторая неделя великого поста, и с самого «прощеного воскресенья» уже капало с крыш.

У нижегородца — двое саней-розвальней, две добрые лошади, побывавшие не на одной ярмарке, да сотни на три кожевенного товара в саниах. Целую неделю пришлось ему шагать с обозом, минуя Гороховец, Вязники, Ковров, Суздаль и Гаврилов Посад. Попутчики попались добрые, не какие-нибудь прошелыги! Из Анькова выехали все вместе, к ночи добрались до Угодичей. Завтра — день воскресный, базар-

ный. С утра — прости-прощай, последний ночлег, и — на торг!

Попутчики нижегородца уже сидят за столом, в горнице, а сам он еще раз пошел проверить коней под навесом. Так оно и есть: у саврасого овес просыпан, торба пустая! Опять хитрец чалый его раззадорил!.. Вот я вас!

Нижегородец наводит порядок под навесом, и чалому достается отведать ременной вожжи. Овес снова засыпан. При хозяине кони стоят смирно, сочно жуют, чуть встряхивая торбами. Вozy в другом конце двора, у самого дома, под оконцем. Владелец пересекает двор, подсовывает руку под рогожи, ощупывает связки своего товара. Все цело, все на месте: тут и черная юфть, и коричневая, седельная; бархатистая опойка, нежный сафьян из шкур молодых козлят, шелковистая лайка — любые тонкие кожи для дорогой одежды, мебели и переплетов книжных. Есть товар и поглубже, на крестьянскую потребу: хорошо отделанные яловые кожи для сапог и даже просто выдубленные, неокрашенные шкуры, какие кожевники именуют «мо-стовьем»; они и в неотделанном виде пригодны мужику на полушубок.

Кажется, теперь все — слава богу! Купец входит в сени, бросает на полку рукавицы, обеими руками приглаживает волосы, расчесанные на прямой пробор, и отворяет дверь в горницу.

— Баранщиков! — кричит из-за стола юрьевский прасол, — где ты пропадал на ночь глядя? Аль красотку в сенях углядел? Слышь, хозяин: где козы во дворе — там козел без зову в гостях! Присматривай за ним в оба, за Васькой этим. Коли девки есть — обернуться не успеешь: сманит!

Нижегородец Василий Баранщиков прячет усмешку, кланяется сотрапезникам.

— Не по нашему носу рябинку клевать, больно ягода нежна, — отшучивается он с видом полнейшего смиренномудрия и подсаживается к столу.

— У кошечки коготки в рукавичках спрятаны! — не унимается сосед.

Но Баранщиков, змиг покончив с ужином, торопливо крестится на красный кут в избе и расстилает на полу овчинный полушубок. Через полчаса все по-

стояльцы вповалку лежат на своих шубах и тулупах, и такой богатырский храп сотрясает закопченные стены, что черные запечные тараканы пугливо прячутся по своим щелям.

Родина Василия Баранщикова — губернский город Нижний Новгород на Волге, резиденция наместника, поставленного императрицей Екатериной начальствовать над двумя губернскими правлениями, нижегородским и пензенским. Купечество Нижнего Новгорода издавна привыкло гордиться своим сословием: из его среды вышел спаситель Москвы от поляков Кузьма Минин! Родители Василия — второй гильдии купец Яков Игнатьевич Баранщиков и супруга его Анна Петровна — умерли около 1771 года, когда мальчику было лет четырнадцать. Два старших брата, Иван и Андрей, обучили мальчишку грамоте и с малолетства «упражняли его в купеческом промысле». Вместе с братьями Васька стал рано ездить по российским ярмаркам и так научился разбираться в кожевенном деле, что ни шорник, ни сапожник, ни мебельщик, ни переплетчик уж не могли соперничать с ним в знании всех тонкостей товара.

В купеческих семьях того времени молодые люди редко вступали в брак по собственному выбору: о будущей судьбе молодых думали родители. Женитьба, замужество ли — дело серьезное, навечное; надобно зрелым умом пораскинуть, чтобы и семья крепкая была, и дети росли здоровыми, и добро чтобы в дом шло, а не за порог! Так рассуждали в ту пору нижегородские бородачи-купцы.

Не нужно думать, будто эта родительская опека непременно несла только горе молодоженам. Конечно, нередко бывали сердечные трагедии из-за родительского самодурства, когда браком своих детей отцы соединяли, например, рыбную лавку и соляную варницу, мало помышляя о том, полюбят ли дети друг друга. Но все же не в этом заключалась главная беда мещанско-купеческого быта: уж очень низменной была самая цель жизни. Все немудреное счастье, о котором купцы-родители денно и нощно пеклись для своих чад, таилось в сундуке! И этот-то разбухающий

сундук постепенно заслонял своими коваными стенками весь божий свет и самому Титу Титычу, и дорожной его супруге, и дочке-лежебоке, и ухарю-сынку. Насчет же родительского «ндрава»... Далеко не все эти титычи, узнав, что девушка не мила молодцу или парень не люб невесте, были так жестоки, чтобы гнать под венец заплаканную чету!

Не испытал столь печальной доли и наш Василий. Лет через пять после смерти отца и матери сосватали парню старшие братья скромную, полюбившуюся ему девушку с нижегородского посада, дочку бедных родителей, и в 1780 году, когда достиг Василий двадцатитрехлетнего возраста, было у молодых супругов уже трое ребятишек. И с торговлишкой пошло у него дело на лад: поднялся по примеру отца до второй гильдии. Не шути: в коляске парой мог бы прокатиться по овражистым нижегородским улицам! Давала такое право вторая гильдия купеческая, только коляски не было, а кони больше годились для воев. Подати гильдейные Василий платил исправно — ежегодно один процент с объявленного капитала. Солидности для объявил он себя в тысячу рублей, хотя со всем оборотным и основным капиталом, с домом родительским о четырех оконцах на улице, с обоими конями, пошевнями и летней бричкой едва ли «стоил» купец Баранщиков и половину тысячи...

Перед отъездом на ростовскую ярмарку жарко молилась за тароватого муженька молодая супруга. Утешая ее, Василий украдкой поглядывал на готовые в путь воеы. Там, под рогожами, лежала судьба купца Баранщикова, потому что купил он товару на весь кредит, полученный у богатых соседей. Кредиту было сотни на две серебром, да еще сотню рублей вложил в это дело Василий своих. Да кони, да розвальни! Почитай, весь тут купец, с потрохами. В Нижнем остается один домишко да четыре ротишка!

А расставались когда, повисла жена на шее мужниной, слезами изошла, будто в рекруты провожала. Сердце-то женское, видать, вещун: не ведал Василий, что уготовила им судьба и впрямь разлуку долгую!

Пока молодая купчиха в который раз и целовала, и крестила мужа, двое крошечных Баранщиковых с писком и визгом цеплялись за ее юбку и за ладный

отцовский полушубок, а третий, новорожденный, ревел во весь голос в люльке. Вездесущая соседка Домаша Иконникова не поленилась заглянуть к Баранчиковым: ее тонкий слух сразу уловил — плачут!

В семье Василий был ласков, не груб, ребятишек баловал, жену-бесприданницу не обижал. И в отъезде всегда семью помнил, на ярмарках «в авантаж» не входил. Оно, по правде-то говоря, особенно разгуляться и не на что было, а все же соблазн случался: мужик сильный, собою видный, веселый, ласковый, на разговор и уговор куда какой ловкий! Вот и приходилось, заночевав где-нибудь на Валдае, либо в Кунавине, или в ином прочем месте, где бабы и девки до поцелуев больно горазды, эту самую мужнюю совесть крепко в памяти держать. Да так хитро держать, чтобы и попутчики-зубоскалы, охальники, за излишнюю скромность не осмеяли. Насмешка — прилипчива, купцу от нее — вред...

...Спит, раскинувшись на овчине, нижегородец Василий Баранчиков, а сосед его по ночлегу, юрьевский прасол, кричит и почесывается, глядит на ущербный месяц в окошке. Оконце маленькое, луч месяца тонок и слаб... Но в этом луче, падающем на грудь соседа, прасол невзначай приметил на шее Василия шнурок от заветного кошель. Сейчас кошель, наверное, пуст, но через несколько дней он вместит всю выручку. Оно, конечно, грешно об этом думать, на чужое зариться, да больно завидно смотреть, как безмятежно крепко спит этот ладный удачливый малый, которому жизнь будто ковриком под ноги стелется!.. Ну, покамест спи, привыкай спать крепче!

И прасол, чтобы проверить догадку, толкает нижегородца в грудь. В укладистом кошеле не звякнуло, не зашуршало. Пусто! А проснется хозяин — будто, мол, тряс, чтобы храп унять. Не проснулся! Дышит спокойно.

Наутро чуть похолодало. Из-за хвойных лесов взошло багровое солнце в туманной дымке. Распахнулись ворота, и с крестьянского подворья выехали на

лед Неро-озера один за другим купеческие возы под рогожами. Держат путь к городу, что виднеется за озером, на невысоком взгорье. И хоть немало благолепных древних городов перевидал на своем веку нижегородский купчик Васька Баранщиков, перехватило у него дыхание, когда красное мартовское солнце озарило первыми лучами башни и главы ростовского кремля.

...Будто старинная русская песня, рожденная над озерным северным простором, не растаяла в небе, не отзвенела в лесных далях, а так вот и застыла, окаменев на века. Стала песня теремами и башнями, взметнулась ввысь полукружьями арок, засверкала золотом крестов.

Весной, когда оттаивает озеро Неро, можно поверить, что из темно-синих глубин его восстает и возрождается к жизни очарованный Китеж-град: это возникает на воде отражение чудного прибрежного города, схожего с Китежем и непреклонной судьбою своей.

Ведь и Ростов Великий, подобно сказочному Китежу, не покорился ханскому воеводе. В смертельном бою с татарской ордой погибли защитники города, а полоненный врагами ростовский князь Василько Константинович был замучен за отказ перейти к ним на службу и воевать против русских. Убили пришлые враги ростовского князя, сожгли город дотла, население истребили, а покорить не смогли! Испепеленный град возродился из праха краше прежнего!

Шестнадцать тысяч мастеров российских, крепостных мужиков ростовского митрополита Ионы, отстроили соборы и палаты, возвели новые стены и башни, сделали кремль ростовский похожим на крепостную твердыню. Таким он и стоит на века, таким и увидели его торговые гости.

Со всех сторон стекался народ на ярмарку. В чetyре лада гудели с кремлевской звонницы тринадцать колоколов. Вот уж впрямь, малиновый перезвон! Должно быть, немало серебра подмешано было при литье в колокольную бронзу! К праздникам настраивают эти тринадцать колоколов особые мастера при помощи громадных, аршинной длины камертонов; проверяют, верный и чистый ли тон.

Гулкие волны ростовского колокольного звона катились в бесконечную лесную даль, гасли в сосняках и ельниках по берегам Сары и Ильмы, Которосли и Сити. Названия рек этих — изначальные, от древних пращуров дошедшие, мудрецами еще не истолкованные, а для слуха — привычные и сердцу дорогие.

В молчаливом раздумье гости дошли наконец с возами до подножия стен кремлевских, и... разбежались глаза у Василия Баранщикова.

Торг уже кипел. Даже на льду озера Неро стояли легкие палатки, в толпе сновали торговцы горячим пряным сбитнем, купчишки с мелким щепетильным товаром, лотошники, продавцы лент. В стороне, под самым откосом озерного берега, вздымался целый лес задранных вверх оглобель от распряженных воев. Оставил здесь Василий и свою пару саней, поручив ее одному из попутчиков, и перво-наперво отстоял заутреню в церкви Спаса-на-Торгу. Пятикопеечную свечу воску ярого поставил Николаю Угоднику за благополучное прибытие, а вторую, трехкопеечную, — наперед, за хороший барыш, за удачу в торговле. Потом вернулся к возам, пробился с ними сквозь человеческий муравейник на главную торговую площадь, осененную тенью величественного Успенского собора, занял местечко в стороне и стал осматриваться вокруг.

От многолюдства, пестроты рябило в глазах. У длинных каменных Гостиных рядов мелькали в толпе ватные халаты бухарцев и персов, меховые шапки татар, круглые шапочки китайских разносчиков. Выкрики зазывал, звуки шарманок на каруселях, божба и брань, ржание лошадей на конском торгу, что велся около озера и на льду, пение нищих слепцов на соборной паперти, колокольный перезвон — не легко сохранить ясную голову и твердую сметку в эдакой сумятице!

В этот раз нижегородцу повезло с первого дня. Ярославский заводчик, обойдя весь базар, раз пять уходил от воев Баранщикова, и все-таки, перед самым обедом, снова воротился, чтобы отвалить без малого четыре сотни серебром за весь тонкий товар. Со-

вершая сделку степенно и серьезно, Василий весь напрягся внутренне, чтобы не выдать радости, не спугнуть покупателя: ярославец-то малость переплачивал! Сбывались самые радужные надежды Василия.

— Уговором взял! — торжествовал про себя удачливый купец. — И добротой товара нижегородского!

Непроданными оставались теперь только грубые кожи да заготовки для простых сапог. Для этого товара и покупатель требовался попроще — оброчный мужик или ремесленный человек. И пододец к этому покупателю иной, чем к оптовому купцу. Крестьянина или мастерового надо уметь привлечь острой шуткой, удивить его, разбудить в нем тайное беспокойство, убедить, что, не купив товара, он упустит редкий случай! Василий и на такой разговор был мастером первой руки. К концу дня он устал и был весь мокрый, будто из бани. Удача его развеселила, он чувствовал себя в ударе и сыпал прибаутками. Голос его даже чуть-чуть охрип, из-под шапки выбилась прядь потемневших от пота волос. Но уже более четырех сотен ассигнациями * и двух сотен серебром ощутимо и сладко давили на шейный шнурок нагрудного кошель, что висел в соседстве с нательным серебряным крестом.

Отторговавшись, привел Василий коней с пустыми возами под надзор одноглазого кузнеца. К началу ярмарки тот установил на базаре горн под тесовым навесом рядом со своим временным жильем. Кузнец, нехотя согласился покараулить коней до вечера, и Василий отправился побродить по ярмарке. Теперь дело сделано, заботушку — с плеч долой!

Не спеша, он удалился от ростовского кремля, завернул за угол, перешел деревянным мостом через речонку и... чуть не утонул в грязи: развезло предвесенним солнышком груды конского навоза, сваленные из архиерейских конюшен. Еле-еле вызволил купец свои сапоги из зловонной жижи.

Здесь, близ городского вала, некогда служившего городу для охраны от нашествий, Василий нашел лавочку менялы. Спокойствия ради он за малую плату

* Ассигнации были выпущены в России в 1769 году. К концу XVIII века один рубль серебром обменивался приблизительно на полтора рубля ассигнациями.

обменял свои деньги — бумажные, серебро и медяки — на золотые десятирублевики царской чеканки. Нагрудная сума стала меньше и удобнее. Выручки — на полтысячи, из них без малого две сотни — чистая прибыль! Потрудился купец на славу!

Стало смеркаться. Стихал гомон у верхних и нижних торговых рядов, в лавках, лепившихся к самым стенам кремля. Чего тут только не было! Василий видел, как убирают с прилавков товары — немецкую тафту и атлас, сукна и пряности из далекой аглицкой земли, бархат и посуду из Франции. Вот бухарец свертывает самотканый ковер, вот индус завешивает черным покрывалом узорчатые шелка...

Умолкла мартовская капель с крыш. Под ногами захрустел ледок. Василий почувствовал, что за весь день ничего не ел... Город уже глядел на него тысячами своих глаз-огоньков. На дверях лавок повисли пудовые замки. Железные ставни и шторы прикрывали окна, как отяжелевшие веки закрывают усталые человечесьи глаза. Пора бы уж вернуться к кузнецу и лошадям, но...

Баранщиков очутился перед приземистым кирпичным домом с затейливым крылечком. Фонарь озаряет внушительного двуглавого орла на вывеске. Дверь приоткрыта, оттуда соблазнительно пахнет жареной бараниной. Царево кружало, иначе кабак. Зайти, что ли, выпить да закусить с устатку?

В низкой горнице — темновато и душно; народу — полно, одни мужики: тверезую бабу сюда калачом не заманишь, к пьяным охальникам. Толстый ласковый ростовчанин целовальник, похожий на евнуха, встречается с поклоном. Э, да тут и попутчик, насмешливый прасол из Юрьева-Польского с какой-то веселой компанией.

— Василь Яковлев, друг сердешный, вот встреча! Вот радость! Вижу, брат, вижу, что расторговался. Честь и место вашему степенству, второй гильдии нижегородскому купцу Баранщикову! Чаятельно, по вашему барышу, вам и сидеть на первом месте в нашей честной компанийке!

Василий бросил на стол серебряный двугривенный. Принесли вина, пива и сбитню, расставили на столе между блюдами. И пошло!

Шум в зале становился все громче. Гости перебрасывались базарными словечками, озорными шутками, присловьями. Владимирцы поддразнивали ростовцев, ярославцы подпускали шпильки юрьевцам, суздальцам, угличанам. Больше всех доставалось ростовчанину целовальнику.

— Эй, хозяин, в Ростове-то в вашем, сказывают, озеро соломой сожгли? *

— У вас-ти, в Ростову-ти, чесноку-ти, луку-ти, бери — не хочу, токмо через навоз-ти не переплыти! А навоз-ти все конская, жемчужнай, бирюзовай, им-ти вся ярманка полна!

Потные красные рожи маячат перед Василием, словно сквозь речной туман.

— Эй, купец, ваше степенство, пьешь по-купецки, а расплачиваешься по-мужицки. Нешто золотого пожалеешь на всю братию? Гулять так гулять! Эх, пошла изба по горнице, сени по полатам, пыль столбом, дым коромыслом, и-эх!

Нижегородец хмелел быстро, и великодушие его к собутыльникам росло с каждой рюмкой. Он и сам уж не помнил, как очутился в обнимку с прасолом, как вытряхивал содержимое всех карманов, куда заранее отложил серебра на обратные харчи и ночлеги... Что было дальше — он не смог бы рассказать и на предсмертной исповеди.

Очнулся он в темноте, где-то в сугробе за городским валом. Смутно белел сквозь голые ветви вяза озерный простор, рисовались на звездном небе луковичные купола кремлевских башен, взблескивали золотом маковки церквей. Ни души, ни огонька... Опамятовался купец, выбрался из сугроба, хват за грудь, руку за пазуху... Один нательный крест! Кошеля нет!

Тяжело застонал Василий, за голову взялся, долго стоял посередь чужого проулка, весь в снегу, в распахнутом полушубке.

Все пропало вместе с этим кошелем, не подняться больше в люди, кредиторы в долговой яме сгноят. Домой, значит, возврата нет. Прежде надобно такими же деньгами разжиться для расплаты. Писать домой тоже

* В старину ростовских рыбаков дразнили, будто для подледного лова они протаивают дыры во льду, поджигая солому, снятую с крыш.

нельзя: узнают кредиторы про лютую беду, семью выгонят, дом родительский с торгов уйдет за бесценок, погибнет и жена, и ребятишки малые. А их трое... Эх, Василий, Василий!

Кое-как добрался до площади, нашел в темноте, у пустой коновязи, своих лошадей, запорошенных снежком поверх попоны. Одноглазый кузнец как раз вышел из соседнего подворья проведать коней, сенца им подбросить да тут и столкнулся с самим хозяином. Кузнец встретил Василия крепкой бранью — дескать, навязал вот купчина свою заботу на шею чужому человеку и глаз до утра не кажет, но, услышав о беде, смирил гнев.

— Эх, поехал черт в Ростов, да заплутался среди крестов... Делать-то что задумал, коли домой пути нету?

Василий ничего не ответил, поправил упряжь на обоих конях и, нашарив в кармане одну-единственную монету, пятиалтынный, молча протянул ее кузнецу. Тот сердито отмахнулся.

— Себе опохмелиться оставь, купец-незадача! С полной мошной по кабакам не шляются. Слушай меня: одна тебе дорога теперь осталась — в море. Не сахарная она, служба морская, не одну соленую слезу из глаз выгонит. Может, и самый глаз, вроде как у меня, отнимет, а все же лучше ее службы нет. Большое жалованье идет матросу, и харчи хорошие, того на суше и не мечтай найти. Подумай, купчина!

Подумал Василий и... решился. Не мешкая, утром продал он тут же на ярмарке и чалого, и саврасого — коней, выращенных при доме из жеребят. С лошадьми продал и попоны, и сбрую, и всю упряжь, и оба воза, что с таким тщанием недавно сам перекрасил и пуговицами медными отделал. Вырученные сорок рублей положил за пазуху, подрядил попутного извозчика до города Санкт-Петербурга за пятнадцать целковых и сразу же тронулся в путь.

Понурившись в чужих неудобных санях, Баранщиков на льду Неро-озера разминул с летящей тройкой. Кони чуть не сшиблись, и на миг седоки обоих возков успели взглянуть друг на друга. Василий узнал своего приятеля и собутыльника, юрьев-польского прасола, а тот, махнув Василию рукой, велел кучеру по-

гонять к городу. Потеряв из виду убогую подводу, прасол еще долго покачивал в раздумье головой и насмешливо оглаживал шелковистую бородку.

«ПОШЕЛ НА ШПИЛЬ»

Всяко было в дороге до Питера. И ночлеги в санях, под рогожами да в соломе. И многоверстные переходы берегами глухих болот, и леса, и озера, и старинные города Калязин, Кашин и Бежецк, и редкие встречные обозы, а более всего — снега и снега, вешки в полях, постоялые дворы, да придорожные кресты над безымянными могилами самоубийц и замерзших путников. Встречали колодников, угоняемых на царские рудники, вязли за Максатихой в Пустопорожном болоте, раскинувшемся на десятиверсты. Видели множество зверя и птицы. На заснеженном Бологом озере довелось им посмотреть, как волчья стая по твердому мартовскому насту гнала огромного лося.

Только после Валдая, что стоит на государевом тракте из Москвы в Петербург, двинулись по хорошо наезженной дороге. А народ здесь, по тракту, оказывается, еще беднее живет, чем на Волге-матушке! Государственных, экономических крестьян почти нет, одни господские мужики живут, горе мыкают. Деревеньки бедные, избы черные, народ сумрачный.

Чем ближе к столице, тем чаще приходилось сворачивать в сугроб: с ямщиком почтовым не поспоришь, у него дело государственное, да и господа в кибитках важные лежат, военных много, того и гляди по хребтине схватишь! Бывало, раньше поглядывал Василий Баранщиков на дома побогаче, диковинки высматривал, чтобы, может быть, со временем, и для себя перенять. А ныне глядит угрюмо на самые нищие хаты: как-то в них бедняки с корочки на корочку перебиваются, мякиной горе заедают. И стал замечать: таких-то, у которых всей рогатой скотины — вилы да грабли, на святой Руси не в пример больше, чем зажиточных да пузатых. Раньше вроде и не замечалось!

Добрался он «на долгих» до питерской окраины благополучно, только с тела спал, вызволяя из снега

не только сани, но и самих кляч. Вот и село Колпино с новым медеплавильным заводом, судовой верфью и мастерскими. Здесь простился Василий со своим извозчиком и пешком дошел до великого града Петрова.

На Невской перспективе дивился многолюдству, движению карет, огромности Гостиного двора, а более всего — строгому порядку и чистоте на улицах. Стрелой летит проспект в серую даль, а по сторонам — решетки чугунные, величественные дворцы, тяжкие цепи разводного моста через Фонтанную реку. Вдали красуются соборы и церкви со шпилями и стройными колоннами — ну впрямь царский град!

На просторной площади у самой Невы заметил Василий дощатое строение между старинным собором * и набережной. Строение заинтересовало нижегородца — тут велись какие-то работы. Он смело прошел за деревянный забор и увидел огромную скалу, формой похожую на вспенившуюся волну. От мастеровых людей узнал, что послужит скала подножием памятнику царю Петру.

Подивился Василий, как же столь великую тяжесть смогли сюда, на городскую площадь, притащить, коли она, сия скала, от природы здесь не выросла. Пояснили ему мастера, что утес этот некогда высился близ деревни Лахты в осьми верстах от Питера и название имел «громовой камень». Крестьянин Семен Вишняков предложил превратить «громовой камень» в постамент для памятника Петрова. Но, действительно, как же было доставить его на площадь? Гранитная скала весила около ста тысяч пудов. В городе долго медлили с каменной облицовкой набережной против будущего памятника — все ждали, когда привезут водой и выгрузят каменную гору. Но способа доставить ее к берегу моря не было.

Наконец умелец российский, простой мужик-кузнец, все-таки придумал способ, доселе небывалый. Прокладывал он по земле деревянные лотки, и по ним катил скалу на литых из меди шарах **.

* Имеется в виду церковь, стоявшая на месте нынешнего Исаакиевского собора, снесенная перед его закладкой.

** В истории мировой техники это был первый опыт практического осуществления идеи шарикоподшипника.

Для передвижки скалы согнаны были к месту работ, в Лахту, сотни и сотни окрестных крестьян и «рабочих людей» — фабричных. Одни ладили дорогу под лотки, другие, опутав скалу канатами, толкали и волокли ее к морю. Тяжело катились по лоткам медные шары, медленно двигался на шарах помост с камнем. Доставили скалу сперва до морского берега, потом — водой, к Питер-граду. Везли ее по заливу на связанных между собою баржах, поверх которых настлан был бревенчатый помост для камня. Так проплыл камень морем к берегу Невы-реки, где его, в конце концов, выгрузили и, при помощи лебедок, благополучно втащили на площадь.

И будет сей величественный утес знаменовать крутизною своею те великие трудности, кои преодолел царь Петр в делах преобразования России! Так пояснили Василию мастеровые люди и еще рассказали, что есть в Петербурге дом такой, кунсткамерой называемый, где можно взглянуть на самого покойного царя Петра, будто бы на живого. И не так далек до нее путь: через мост, а там — по набережной.

Пришел Василий, увидел здание каменное с красивой башней, которая летом могла отражаться прямо в невских струях. Перед зданием — вмерзшая в невский лед деревянная пристань на сваях, верно для увеселительных лодок. Постоял Василий в нерешимости, на Неву полюбовался. Река — шириною с Волгу, только берега здесь низкие и от размыва камнем облицованы. Но во льду тоже проруби видны, и около них те же рыболовы с ноги на ногу переминаются, как в Нижнем.

Не сразу решился Василий войти в кунсткамеру, а как вошел, то подивился: да как же это его, простолюдина неученого, в эдакое место знаменитое, царское пустили? Видел он диковинные вещи — и рыб морских, и разных гадов, и зверей редкостных, и монеты иноземные в превеликом множестве, но более всего запомнил царский кабинет. И порог-то переступить — не сразу отважишься. А переступивши, Василий назад было попятился, чуть-чуть кому-то носки сапог не отдавил, даже мурашки по спине побежали, потому что в кабинете сидел — сам! Мундир на нем военный, лицо задумчивое, усы черные, топорщатся.

Круглые очи в одну точку уставлены, словно в задумчивости. А на столе рядом — чертежный циркуль и корабельный рисунок.

И здесь-то, в сем заповедном месте, но только в другой зале, где по стенам висело много чертежей корабельных, а на особой подставке красовалась модель галеры, услышал Василий ненароком чужой разговор, касающийся морской службы.

Пожилой господин с важным лицом, в большом парике и старомодном кафтане, какие носили еще при императрице Елизавете лет двадцать назад, беседовал с другим человеком, одетым попроще, в коричневом фраке. Оба жаловались друг другу, сколько хлопот приходится тратить на вербовку экипажей для торговых судов российского флота. Видимо, господа были судовладельцами.

Василий торопливо оглядел себя в стенном зеркале. Одет он был по-русски, в добром суконном, еще не окончательно потерявшем свое «гильдейное достоинство» полукафтане, в темно-синих шароварах, заправленных в мягкие сапожки, сшитые из собачьей кожи, мехом внутрь. Поэтому за свой вид Василию особенно не приходилось тревожиться, и он решил поискать случая, чтобы заговорить с незнакомцами. Они задержались у самого выхода из зала, где медный гвоздь, вбитый в стену, обозначал рост царя Петра.

В зале не было никого из прислуги кунсткамеры, и Василий заметил, как один из коммерсантов, тот, что был в парике и кафтане, стал под гвоздем. От гвоздя до макушки парика осталось добрых десять вершков! Попробовал померяться в росте с государем и господин во фраке — не дотянулся он до гвоздя вершков семь. Тогда и Василий, подмигнув коммерсантам, подошел под отметину. Но и он не победил в росте царя Петра: вершка на три не хватило до гвоздя, вбитого на трехаршинной высоте! Все же рост и ширина плеч у Василия показались судовладельцам завидными, они шуточно заговорили с нижегородцем и вместе с ним направились к выходу.

Господин в кафтане оказался его превосходительством Михаилом Саввичем Бороздиным, второй — его благородием коллежским советником Василием Петровичем Головцыным. Они возглавляли торговую ком-

панию, строившую на охтенской судоверфи новое судно, и как раз собирались ехать в контору верфи. Василий уже начал рассказывать им свою судьбу, и повествование так заинтересовало обоих господ, что они задержались в передней. Слуге судовладельцев пришлось поодаль подождать с шубами. Василий Баранщиков поведал все, не сетуя, ни на кого не жалуясь и держа себя со спокойным достоинством. Судовладельцы слушали сочувственно.

По окончании рассказа Василий Петрович Головцын, видимо любитель книжного чтения, покачал головой и процитировал Хераскова:

Однако, может ли на свете
Прожить без денег человек?
Не может, подсажу в ответе,
И тем-то наш и скучен век!

Вместе с собеседниками рассмеялся и Василий Баранщиков. Уметь смеяться над собственной бедой — свойство неслабых людей! Судовладельцам понравился этот ладный, рослый и веселый человек. Они спросили его, что же он намерен делать «без денег в этом скучном веке».

Выслушав ответ, судовладельцы переглянулись. Головцын вопросительно поглядел на Бороздина, тот кивнул утвердительно.

— Если намерение ваше здраво обдуманно — поедете с нами на судоверфь, там служба для вас нашлась бы! — сказал Головцын.

Слуга подал господам их шубы. Заодно лакей накинул на плечи Василию его добротный, но уже потертый полушубок. Получив от бывшего нижегородского купца серебряный гривенник, лакей удостоил Василия титулом «ваше благородие».

У крыльца ждала карета на полозьях. По дороге на Охту господа расспросили подробности происшествия, осведомились о семье и головами покачали: простота — она, мол, хуже воровства! Наконец, в оконце кареты стал виден длинный дощатый забор охтенской судоверфи. Вот и широко раскрытые ворота! Запахло скипидарным духом соснового дерева и острой вонью разогретой смолы.



В конторе судоверфи господя велели кликнуть боцмана Захарыча и пояснили Баранщикову, что помощник-боцман вместе с только что нанятым шкипером-иноземцем набирают экипаж для нового судна. Хозяева пожелали Василию «куражу» и простились с ним. Василий вместе с Захарычем отправился прямо на корабль.

Боцман взял у Василия его паспорт, выданный нижегородским магистратом, осведомился о причине, которая гонит в море гильдейного купца, посочувствовал беде и... зачислил Баранщикова Василия Яковлева сына «на все виды матросского довольствия» с жалованьем десять рублей помесечно.

Неоснащенный корабль вскоре перевели с речки Охты на остров Котлин, в Кронштадт. Эта новая рос-

сийская гавань поразила Василия, хотя городские строения в Кронштадте оказались много скромнее столичных. Зато увидел здесь Баранщиков техническое чудо — устройство для ремонта морских судов, равного которому не было тогда во всем мире: новый город Санкт-Петербург и его «морские врата» — Кронштадт с первых дней своего существования и оснащались-то по-новому!

Попав с кораблем в кронштадтский порт, Василий обратил внимание на стенки каменных молов, уходящих в море. Эти каменные стенки прикрывали вход в канал, шедший в глубину острова, к сухому доку.

Раньше, еще в начале екатерининского царствования, воду из дока выкачивали на голландский манер ветряными мельницами. Бывало, рассказывали Василию старые моряки, виднелись эти мельницы над доком еще издали, словно черные монахи, машущие пустыми рукавами. А недавно, в 1776 году, поставили рядом с доком великую огневую машину с насосом. Высота машины сей — поболее тридцати аршин! Такой высоты и дома редки, разве только церкви строятся и повыше. Для машины сложена хоромина — кирпичная сорока двух аршин в вышину. Котел огневой подает в ту машину горячий пар, и в ее цилиндре сила пара поднимает вверх мощный поршень. Потом цилиндр окатывают студеною водою, пар садится, и поршень идет вниз. Качающееся коромысло соединяет поршень с насосом. Этот насос и выкачивает воду из дока — ведер двести-триста в минуту.

Теперь кораблям российским или иноземным недолго приходится ожидать в Кронштадте починки. Судно по каналу входит в док, за кораблем закрываются искусно сработанные шлюзовые ворота, построенные мастером Нартовым, а хоромина с огневой машиной окутывается облаками пара и черного угольного дыма. Быстро осушается огромный док, у корабля обнажается днище, и судовые плотники или особые мастера при самом доке заделывают любое повреждение, любую течь. А потом вода самотеком пойдет в бассейн, всплывает судно, шлюз перед ним растворится и — прощай, колыбель корабельная! Полетит парусник навстречу белопенной балтийской волне!

Из-за мелководья в устье Невы иноземные суда с некоторых пор не ходят по заливу дальше Кронштадта, питерские грузы берутся на борт здесь. Сюда, в Кронштадт, товары идут из Питера на мелкоосидающих баржах, так что грузчиков в Кронштадте — видимо-невидимо, целые артели, но и то, случается, не хватает их для выгрузки-погрузки: в одну только Англию ежегодно уходят тысячи и тысячи пудов уральского железа, а еще медь, и свинец, и пенька, и лес... Шведы, норвеги, датчане грузят в Кронштадте на свои корабли те же товары, да самоцветы уральские, да штофные и полотняные российские ткани. Французы здесь — тоже гости обычные, вывозят к себе и жир, и воск, и смолу, и строевой лес. Для всех в России-матушке товар по душе находится, лишь бы по-хорошему, по-доброму дела велись! И стоит в Кронштадте этих судов иноземных — сразу и не сочтешь!

Тут, в Кронштадте, оснащался, а потом грузился и тот корабль компании российской, на который поступил Василий Баранчиков. Восемьдесят человек команды работали на борту более двух месяцев чуть не круглыми сутками, хозяева торопили с выходом в плавание. Матросы кроили и шили паруса, пригоняли и крепили их по местам. Тут-то и пришлось тугоовато новичку!

Василий привыкал, балансируя где-нибудь на верхних реях, преодолевать страх и неуверенность, уговаривая себя, что он — человек русский, стало быть — все может! Названия парусов и рей Василий узнал от Захарыча и запомнил в первый же день. С того дня он уж никогда не спутал марселя с брамселем. А вот разобраться в снастях, в бегущем и стоячем такелаже оказалось похитрее! Не скоро постиг Василий эту премудрость, не скоро разобрал, какая разница между шкотами и фалами, вантами и фордунами, штагами и топенантами, леерами и брасами.

Самое же трудное началось, когда оснащенный корабль стал принимать на борт свой многотонный груз — русский сосновый мачтовый лес, бревнышко к бревнышку, что твои струны звонкие! — для французских кораблестроителей в Гавре и Бордо. На погрузке тяжелых «баланов» Василий показал себя сно-

ровистым малым, поняв, что в этой работе главное — слаженность и товарищество, а также веселый огонек задора.

Приглядевшись к матросу-новичку, хозяева прибавили ему еще пять серебряных рублей месячного жалованья. Стал получать Василий пятнадцать целковых — как говорится, хоть серебром, хоть золотом — да на полных харчах. Вот она, служба-то морская! Выходит, добрый матрос зарабатываете иного чиновника, и заработок притом некорыстный!

На всю жизнь запомнился Василию печальный миг прощания с родной землей. Было это в середине октября 1780 года. В последний раз глядел он на кронштадтский порт с огневой машиной, новыми домами в строительных лесах и узким церковным шпилем. Вдали мерцали едва видные из-за тумана утренние огоньки Петербурга. Под переливы боцманской дудки матросы выбирали оба якоря. Грудью навалился Василий на вымбовку судового шпиля. Упираясь ногами в палубный настил, налегая на вымбовку, матросы топали и пели «присказку».

Пошел шпиль — давай на шпиль,
Бросай все — пошел на шпиль,
Становися вкруговую,
На вымбовку дубовую!
Грудь упри — марш вперед,
Толай в ногу — давай ход!

Вот наконец перестали визжать и грохотать в ключах якорные цепи, и мокрые черные якоря повисли над бортом. Колючий ветер дул навстречу невшскому течению, ерошил в заливе мелкую злую волну, будто сердитого зверя против шерсти чесал. Паруса с гулками хлопками всползли на реи и наполнились ветром. Все поплыло и закачалось...

Прощай, матушка-родина, прощайте, малые ребяташки и любимая жена! Известия от супруга, уходящего в море, дождетесь вы только из столицы датского царства, города Копенгагена, откуда уж никакие заимодавцы не смогут насильно вернуть своего должника. Пусть потерпят немного, всего с годочек, авось не тронут семью! Воротясь, рассчитается с ними сполна матрос верхней команды Васька Баранщиков!

БЕЛЫЙ РАБ

Почти целый месяц солнце ни разу не пробивало зимних штормовых туч. И, глядя на угрюмое серое небо, на сердито взлохмаченное море, матрос-новичок Василий Бараншиков никак не мог распознать, где осталась его родная земля и куда, в какую сторону он плывет — так часто судно меняло курс и ложилось в дрейф.

Впрочем времени для размышлений и наблюдений у матроса немного. Четвертую неделю судно стонет, содрогается от киля до клотика в единоборстве со своенравной Балтикой. При сильном боковом ветре корабль медленно кренится вправо, а потом еще медленнее переваливается влево, так что острия мачт будто прочерчивают след в низком небе; если такая бортовая качка усиливается, то по всему кораблю нарастает тихий, словно бы зловещий, стон. Это пробуждаются скрытые силы во всей громаде корабельного груза. Сосновый мачтовый лес, лучший корабельный лес в мире! Но когда многосаженные бревна застонут, заскрипят, грозя вот-вот порвать тросы и канаты расчалок, тогда шкипер крепче прикусывает свою носогрейку и меняет курс корабля. Паруса свертывают, судно снова ложится против ветра и дрейфует, а волна бьет и бьет в обшитый дубом форштевень, в крутую, натруженную бурями корабельную грудь. И тогда весь корабль с мачтами, надстройками, снастями и лебедками начинает низко, покорно кланяться буре.

Он кланяется ей, зарываясь носом в воду и высоко задирая корму, обнажая руль... Килевая качка! Сперва, после бортовой, кажется — вроде бы все же полегче. А слышь, боцман уж свистит матросов к помпам. Сквозь оглушительные хлопки мокрых полускатанных парусов, сквозь вой ветра и топот матросских сапог по палубному настилу доносится до людей в кубрике не громкий, но особенно тревожащий плеск: это булькает и плещется вода на дне темных корабельных трюмов. Четыре помпы — а они требуют восьмерых матросов, свободных от вахты, — довольно быстро справляются с откачкой воды, и свободные от вахты возвращаются к своим подвесным койкам, но

проходит час, другой, качка и шторм не ослабевают, и... опять боцманская дудка напоминает, что где-то в корабельных недрах просачивается предательская струйка. То ли конопатка где-то сдала, то ли на верфи за осмолкой недоглядели. Судно-то новое, как пятак медный из-под чекана.

Запомнился Василию свирепый шторм у берегов острова Готланда, когда шкипер не на шутку испугался — выдержат ли крепления груза и не пойдут ли «баланы» куролесить по кораблю. Обошлось все, только матросы замучились.

Когда подходили к датским водам, боцман Захарыч более всего опасался мели у залива Кегебугт, перед самым Зундским проливом: тяжело нагруженные корабли часто садились на эту мель или же заранее себя предусмотрительно облегчали, перекладывая груз на малые суда. Морока! Но и тут дело обошлось хорошо, выручил опытный лоцман, житель острова Амагер. Спасибо ему, провел в Зунд без перегрузки, да еще и судно похвалил.

Как-то ранним утречком Захарыч подозвал к себе вахтенного матроса Баранщикова. Боцман показал Василию острую тяжеловатую четырехгранную башню на дальнем берегу, чуть видную сквозь зимнюю дымку, и сказал:

— Это, Василь, вишь, ратуша города Кспенгагена, столицы королуса датского... Почитай, добрались кое-как! Шкипер-то у нас иноземец, не больно спешил. Ну, да о том пушай хозяева тревожатся, им виднее, какого шкипера нанять. Наше дело — шкот потрави да носовой подбери... Что, чай, не сладка показалась служба матросская? Не сладка, да хитра?

— Ничего, привыкаю. Хитра не матросская служба, а наука морская: и мели, и быстрины морские, и пучины, и планеты небесные, и воздухи!

— А ты думал! Зато постигнешь все сие — сможешь штурманом или шкипером стать, господином морей. Не придется тогда российским судовладельцам шкиперов-иноземцев на службу звать. И уважение иметь будешь, не менее чем в звании купеческом... Только что брюха не отрастишь.

— Ну, Захарыч, по этой-то беде сердце не выболит! А вот как подумаю о своей Марьюшке да ребя-

тишек вспомню — будто ножом по сердцу. Который месяц без весточки сидят: сам замесил, а им-то выхлебывай! Хоть бы малую толику Марье на прожитье послать!

— Вот из Копенгагена, столицы датской, и пошлешь. Оттуда что ни день, то в Питер оказия случается. Коли жалованье тебе здесь выдадут (я шкиперу-то скажу), купи еще белья шерстяного теплого. Зело добра здесь всякая справа, всякая одежда, морскому человеку пригодная. И заметь: она здесь подешевле и добротнее, нежели в земле аглицкой. Не упусти из памяти сие, зане плавание впереди зимнее. Про семью не забывай, но и себя помни: поглядывай в оба! Разные люди в портах чужих обретаются. Много в них народу доброго, а есть и прощелыги-обманщики.

— Это — как везде, Захарыч, их и дома достаточно, не занимать-стать! Спасибо тебе, боцман, на добром слове...

...Уже две недели отстаивался в Копенгагене корабль компании российской, груженный мачтовым лесом в Бордо. Баранщиков несколько раз сопровождал своего шкипера в порт, то гребцом на шлюпке, то носильщиком. Шкипер-иностранец был грубиян и хитрец, у такого науку не скоро переймешь, все про себя таит, не то, что Захарыч.

Город, после Санкт-Петербурга, показался Баранщикову и тесноватым, и небогатым, и довольно-таки невзрачным, но знал о том Василий про себя: зачем другой народ обижать! Город-то все же столица ихняя, королевская, да и новшества добрые в ней есть. Удивился Василий, например, отменному устройству водопровода в копенгагенском порту: бежит по свинцовым трубам вода пресная, чистая и прозрачная. Можно струю сильнее пустить или слабее, можно истечение воды вовсе прекратить. Бежит вода в бак, установленный вместе с ручной помпой на малом судне, на манер гребной галеры. Это судно и развозит воду по всем кораблям на рейде. Никаких хлопот, не то что в иных местах, где приходится воду бочонками в лодках с берега перевозить. Здесь, в Копенгагене, подойдет галера к кораблю, наставит рукав парусино-

вый и двумя помпами в несколько минут все бочки сполна накачает, будь то хоть военный корабль с полутысячной командой.

Ездил Баранщиков по делам шкипера и в город Хельсингер, что верстах в тридцати от столицы. Видел там грозную крепость Кронборг, что выставила на Зундский пролив четыре сотни орудийных стволов. Вот, оказывается, какой замочек висит у выхода из моря Балтийского!

Очень понравилась Василию и сама дорога в Хельсингер — вся вымощенная камнем и обсаженная деревьями. Летом здесь ехать — будто по саду тенистому. В одном месте, при выезде из столицы, остановила Василия застава королевская: берут, вишь, подорожную пошлину — того в России давно, уж лет тридцать как, в помине нет.

Дня три перевозили матросы лодками на корабль сухари в мешках, солонину, разный провиант, закупленный у датчан. Как погрузили на борт весь провиант, стали сухари подсушивать, припасы перебирать, груз проверять и крепить, швы у новых парусов чинить, снасти вязать. Боцман говорил: скоро отвалим, на простор океана выйдем!

Уже прискучило Василию в чужом порту. Надоело с утра до ночи глядеть все на ту же гавань, на тот же арочный приземистый мост вдали, за которым чуть виднелась ратуша и площадь с конной статуей. Потянуло молодого моряка дальше, в неизведанную даль. И пришел наконец роковой день в его судьбе, 12 декабря 1780 года.

В тот день отпустили его снова на берег, сказавши, что это в последний раз перед отвалом. Шкипер дал ему кое-какие поручения, так как изо всей команды Василий Баранщиков лучше всех научился изъясняться с чужеземцами на их языках. Еще в Петербурге и Кронштадте он схватил десятка два слов, немецких, голландских и английских. С помощью своего простейшего словесного набора он самым удивительным образом служил переводчиком для команды, для боцмана и всех, кто нуждался в его услугах. Оказывал он эти услуги с большой охотой и совершенно бескорыстно. В лексикон Баранщикова входили слова: гут, ниht, вайн, мильх, мальцайт, фиш, брот, мерси,

плиз, уотер и т. д. Слово «форшмак» служило универсальным обозначением людей и явлений отрицательных.

Бродя в последний день по чужому городу, приглядываясь к лицам, уличным сценкам и товарам в окнах лавок, Василий мимоходом ухитрился выручить своими лингвистическими познаниями даже какого-то итальянского капитана. Итальянец спрашивал у датского купца, может ли тот продать несколько бочек солонины. Датский оптовый купец не понимал пылкого и нервного южанина, качал головой, предлагал то вяленой рыбы, то водки, то сухарей, словом, только не то, в чем нуждался клиент. Баранщиков, глядя на них со стороны, по одной жестикуляции итальянца понял, что тому было нужно.

— Послушай, друг ты мой любезный, — мягко и ласково обратился он к датчанину, который уже краснел и сердился. — Не надо ему вайн, слышь? Нихт вайн, ниht шнапс. Понял, форшмак ты? И фиш ему не надо, ниht фиш. Ах ты, господи, да как же по-ихнему мясо коровье зовут, говядину то есть? Сейчас я тебе растолкую, экий ты недогадливый купец! У нас — пропал бы, ей богу!

Василий сначала изобразил пальцами рога на лбу, замычал, а затем опустил на корточки, показывая, что доит корову.

— Мильх? — удивленно спросил датчанин.

— Да не мильх, ниht мильх! — Василий полоснул себя по горлу и представил, будто пальцами присаливает мясо зарезанной коровы.

— А-а-а! — уразумел наконец недогадливый оптовик, — гезальценес риндфляйш?

— Вот, вот, вот! — радостно подтвердил Василий. — Гут фляйш! Давай вези его скорее бочками на шхуну капитану-итальяну. Ну, братец, и форшмак же ты! Другой бы, к примеру наш, с одного вздоха покупателя бы понял, а я вон лишних полчаса тебе твою же выгоду в башку втемяшивал. Теперь — потолковали и — адью, господа хорошие!

Итальянец догнал его и, указывая на вывеску таверны, пригласил промочить горло. При виде вывески Василий на мгновение задумался, вспоминая, сколько покупок он сегодня собирался совершить. Но, по-

сколько деньги были еще не истрачены, он решил, что за столь длительную и разумную экономию пора бы себя вознаградить!

Они вошли. Итальянский капитан велел налить два стаканчика виски, расплатился, сунул стаканчик прямо в руку Василию, чокнулся со своим добровольным переводчиком, осушил стакан и заторопился к выходу. Он, видимо, очень спешил на свою шхуну. В дверях он махнул Василию рукой на прощание. Баранщиков остался перед стойкой один, со стаканом в руке.

— Зайти в питейное заведение — сие российскому человеку свойственно, но водку пить в одиночку да без закуски — сие не свойственно! — философически заметил Василий вслед ушедшему и огляделся.

В таверне было тихо, тепло и почти пусто. Из десятка столиков в зале занят был только один. За ним сидели двое хорошо одетых датчан. Они смотрели на Василия с большим вниманием. Один из них, показав на крепкую фигуру матроса у стойки, проговорил тихо:

— Великолепен!

Разумеется, Василий этого не слышал и не понял. Второй датчанин поднялся с бокалом в руке и подошел к Василию.

— Уилком! — сказал он по-английски. — Гуд ивининг! Уанс мор э литл глэз оф бренди, май френд!

Нижегородец про себя решил, что гости изрядно навеселе, коли с таким радушием встречают простого чужеземного матроса, но, будучи человеком благожелательным и вежливым, не желая уронить достоинства русского человека за границей, он подумал и степенно отвечал на своем языке:

— Гут вайн. Гут брот. Мальцайт, господа!

Приветствие привело незнакомцев в такой восторг, что оба бросились обнимать русского матроса. Заулыбался и хозяин таверны. Он вышел из-за стойки, один из гостей пошептался с ним. Хозяин отправил посыльного за кем-то, а затем помог гостям расположиться поудобнее за столиком. Перед Василием Баранщиковым появилось несколько бутылок с коньяком и французскими винами. Оба незнакомца принялись с усердием потчевать матроса Баранщикова. Тот не дал себя долго упрашивать и, не чванясь, налег на чарку.

Вскоре перед Бараншиковым возникло новое лицо, и очень вкрадчивый, тихий голос, приятный и мягкий, по-русски произнес:

— Здравствуй, брат. Здорово ли живешь? Откуда и куда плывете?

Перед столиком стоял настоящий щеголь. Василий разглядел узкое холеное лицо, серые, немного навывкате глаза, напудренный парик с короткой косицей, перевитой атласной лентой. Кафтан и камзол одного цвета, самого модного — желтовато-зеленого. Короткие светлые панталоны, схваченные под коленом шелковыми завязками, лакированные туфли с красными каблуками и золочеными пряжками, бирмингамская цепочка с брелком от часов на груди — словом, не молодой человек, а картинка! А главное, как чисто по-русски говорит и не гнушается к простому матросу обратиться!

— Что ж ты молчишь? Вижу, что ты наш брат — русак. Давай познакомимся, я рад, что земляка встретил на чужбине. Сам я нынче на галиоте купца Хватова, Бенедикта Ивановича, из Риги прибыл. Давай-ка теперь со мной бутылочку бордоского откупорим!

У Василия в голове шумело сильнее, чем в осеннюю бурю шумит сосновый лес. Оба датчанина собрались уходить и долго трясли Василию руку на прощание. Они так небрежно бросили на столик тяжелую золотую монету, с лихвой покрывшую стоимость всего вечернего пира, что Бараншиков чуть не ахнул вслух. «Ишь, — подумалось ему, — как здесь люди богатеют: эдакими деньгами запросто швыряются, словно медяками!»

Бараншиков остался теперь наедине с новым другом, который назвал себя Матвеем. Уходя, один из датчан бросил Матвею короткую фразу по-датски:

— К трем часам цыпленка на набережную. Не раньше, а то наши не успеют управиться со шведом. Пейте часов до двух. Го нат!

— Кто они, господа эти? — спросил Василий, не разобравший ничего. — Видать, люди больно хорошие!

— М-да, господа замечательные. Я уверен, ты сойдешься с ними ближе. Одного Карлом Фритценом зовут, а другой — Германн. Богатейшие датские судовла-

дельцы. Считай: у них простой матрос двадцать пять рублей в месяц получает.

— Да что ты? Этак я с долгом-то быстро расчелся бы! Мне бы такое жалованье, эх!

— Я сказал, что двадцать пять рублей получает у них простой плохонький матрос. А тебе, красавцу и силачу, — верных три червонца в месяц на полных харчах перепало бы.

— Тридцать рублей?

— А ты как думал? Вот сходим нынче к ним на корабль, он недалеко стоит, сам убедишься, какой кубрик, какая пища матросам. Ты, видно, в деньгах нужду имеешь?

— Имею, батюшка! С долгом рассчитаться надо, чтобы к семейству поскорее воротиться. Большую нужду имею — ребятишки погибают.

— Тогда о чем же думать! Поступай к ним на судно!

— А как же с хозяевами? Контракт нарушить?

— Шкипер отпустит тебя, коли попросишь по-хорошему. За год полтысячи огребешь — и домой, к семье. О чем думать? Время позднее, два часа ночи сейчас, придем в порт, съездим к ним на корабль (он на рейде стоит), проспимся там, а утром — напишем за тебя прошение и — переберешься с вещами. Упустишь такое счастье — за пять лет того не накопишь!

Со смутным ощущением чего-то неладного, преодолевая недобрые предчувствия, Баранщиков, нахлобучив меховую шапку, запахнув полы своей матросской куртки, шагал вслед за легким изящным Матвеем.

Ночь была сырая, ветреная. Редкие снежинки то валились хлопьями, то вихрились в луче фонаря, что болтался над каменной аркой ворот гостиницы Рау на Королевской площади. Миновали конный монумент какого-то датского короля. Ветер задул злее, снег залеплял Василию лицо. Они были уже в порту, и за каменными строениями таможни открылся вихревой простор, мгlistая даль гавани, огоньки на судах и черневшие сквозь метель кресты корабельных рей со скатанными парусами. Баранщиков подивился, как уверенно шел его спутник сквозь мрак и метель, кутаясь

в легкий зимний плащ, отороченный дорогим мехом. Если бы не хлещущий в лицо ветер с мокрым снегом, все это могло бы казаться странным сновидением...

Но вот и громада причального пирса, тяжелые парные бревна кнехтов. Матвей уже не шагает, он бежит по оледенелому пирсу, прикрываясь плащом. Василий, еле удерживая равновесие, с горячей, гудящей головой кое-как поспевает за ним.

Лодка! Закутанный в шубу гребец. А вон из-за штабеля ящиков выходит и другой. Они коротко здороваются с Матвеем, как с добрым товарищем. Матвей помогает Баранщикову спуститься в шлюпку. Мысли у Василия путаются, он хочет спросить, куда же денется сам Матвей в его легком плаще и красных туфельках, но нижегородца уже усадили, вернее, уложили в лодке, чем-то прикрыли, нетерпеливо приговаривая: шон гут, шон гут! Беспокойство за товарища растворилось и забылось, возникло легкое и щекотное чувство удовлетворения, что не надо больше спешить и бежать, а нужно лишь спокойно лежать, отдаваясь во власть легкой качке...

Он не слышал, как его поднимали по трапу чужого судна, как втащили на борт и опять спустили в корабельный трюм. Баранщикова все сильнее мутило. Остатками сознания он соображал, что негоже являться матросу мертвецки пьяным на корабль, где собираешься послужить с годок... Что это? Будто железо звякает? Ногу... пустите! А!.. И все потонуло в мягкой сонной бездони...

Пробуждение Василия Баранщикова утром 13 декабря 1780 года было не из веселых!

...Боль, тяжесть во всем теле, но еще какая-то особенная тяжесть на левой ноге, у щиколотки. Батюшки! Железная цепь! Вот-те раз, за какие грехи его, беспмятного, заковали? Эх, верно говорят старики: с чаркой спознаться — ум потерять.

Василий рывком поднялся, скинув с головы какую-то ветошь, которой был слегка прикрыт. Темно. Слабый свет только на потолке, где чуть приоткрыт квадратный люк. Сквозь щель проникает серый рассветный луч...

Еще не понимая страшной беды, не ведая пропасти, куда он так легко дал себя заманить из-за излишней доверчивости, Баранщиков услышал слабый стон в двух шагах от себя. У той же стенки, к которой был прикован он сам, Василий различил еще одну человеческую фигуру. Да не одну! Вон еще лежит прикованный человек, и у той, противоположной стены, тоже видны люди в оковах. Господи, куда это его занесло?!

Люк приоткрывается шире. Смутно доносятся до Василия далекие звуки выбираемой где-то якорной цепи, шелест волн. В трюме становится посветлее. Сверху, из люка, неторопливо спускаются дюжие грубые молодцы в матросских куртках. Они несут оловянные кружки, ведро, полное ломтей хлеба, и второе ведро с каким-то варевом. Позади этих «кормильцев» показывается еще один матрос с ременной плетью на плече, как у пастуха...

Так Василий Яковлевич Баранщиков, российский мещанин из Нижнего Новгорода, уважаемый на родине человек, угодил на судно датских работорговцев, охотников за живым товаром. В Англии людей этой отвратительной профессии называли «духами», причем там «духи» охотились преимущественно за малолетними. Василий Баранщиков не ведал, что лет за сорок до него побывал в руках таких же гнусных вербовщиков и похитителей великий его земляк Михайло Ломоносов, которого спасла от участи Баранщикова только необычайная физическая сила, поморская хватка и смелость: рискуя жизнью, Ломоносов бежал из немецкой крепости, куда был завлечен обманом.

Закованного Баранщикова несколько дней держали в трюме. Его товарищами по несчастью оказались пятеро немцев из Данцига и других городов и один швед из Гетеборга, обманутый и взятый работорговцами в тот же день, что и Василий. Кричать, просить, грозить, умолять работорговцев — все было бесполезно: наружу не проникал ни стон, ни крик, ни жалоба. Ответом на уговоры и просьбы была насмешка и плетль.

Трюм с пленниками был небольшого размера, помещался в носовой части датского корабля и снаружи всегда охранялся вооруженным матросом. Кроме этого

трюма на корабле были еще два, много большего размера. Их нагружали железом, пенькой, льном, досками. Приняли на борт и большую партию дубовой клепки для бочек, будто для крупного винокуренного завода. Погрузка шла днем и ночью — датчане торопились уйти из порта.

На четвертые сутки плена Василий, уже привыкший к полутьме трюма, различил знакомую фигуру в квадратном вырезе открытого люка. Оттуда спустился по трапу человек в изящном плаще, кружевном галстукe, завитом парике, туфельках на красных каблуках и с лорнетом в руке. Брезгливо сторонясь распростертых на полу тел, он подошел к Василию, поднес лорнет к глазам и насмешливо отвесил своему «крестнику» церемонный, низкий поклон.

— А, друг Василь! Верно, мнишь, что в большую беду попал? Не печалуйся! Повезут тебя туда, где я и сам не мало лет пробыл и теперь о том не жалею. Видишь, какие перстни ношу, как обут, одет? Последняя мода! Коли не будешь и ты дураком, сумеешь угодить хозяевам, стать им в деле помощником — и ты нужды избежишь, новую родину обретишь.

— Плут ты нарядный, обманщик и вор, крадун чело-веков! — с сердцем проговорил нижегородец. — Даром тебе не пройдет сие. Держава российская невдалеке, она за меня заступится. Иуда ты искаротский, а не русский человек!

— Русским-то я николи и не был. Только перед тобою намерен русским нарекся. С немцами я — немец, со шведами — швед. С вами — русский. А коли правду хочешь знать — поляк я из Данцига и зовусь Матиа-сом. А что ловитвою душ простецких промышляю — то верно. Промышляю! Двенадцатый, поди, год, и судьбой, как видишь, не обделен. Дураков на мой век по-камест хватало. Надежду имею, что и на будущее сего товару не убудет. Примечаешь, каких цветов у меня костюмы парижские? Почему не побаловать себя, если карман позволяет? Заметь: всю одежду выписываю, как барин, от лучших парижских портных. Нынче, к примеру, в моде что? Вот такие цвета — коричне-вато-зеленоватые и желтенькие. Вот этот, что на мне видишь, называется «уличная грязь», самая нынешняя мода. Панталоны эти — цвета «нога нимфы», это уж,

считай, отошло... Еще имею в своем гардеробе кафтанчик цвета «лондонский туман», третий кафтан цвета «живот монашенки», а уж к нему камзольчик — загляденье: по цвету называется «отравленная обезьяна»... * Вот, друг, какой у меня главный интерес в жизни — мода, чтобы во всей одежде модной стиль чувствовать. А на прочее все — мне наплевать! Разве я неправильно рассудил?

— Бессовестные глаза твои! Про моду болтаешь, обезьяна ты заморская, а сам людей в цепи заковал. Попугай ты отравленный, живот монашенки, тьфу! Куда повезут нас, сказывай.

— Туда, где держава российская тебя навряд ли сыщет, в Южную Америку, друг. Там до тебя только один русский побывал.

— Небось и его ты в руки ловцам предал? Кто ж он таков, тот пленник российский?

— Ошибаешься, друг Василь, не пленником он океан пересек, ибо похитрее меня будет и знает поболее нашего. На Мартинике-острове, колонии французской, он уже года четыре переводчиком обретается. Имя его — Федор Каржавин, купец, лекарь и переводчик. А ты, Василь, вторым русским в Южную Америку угодишь. — В тоне Матиаса зазвучала откровенная издевка. — Только заболтался я с тобою, давненько вашего брата не встречал, соскучился. Ведь уж небось недели три миновало, как я двух таких же русских морячков-ротозеев вроде тебя на датские галеры гребцами пересадил **.

— Отыди, плут окаянный! Куда ни привезут нас — все равно, знай, убегу домой. А тебя встречу — будь то хоть в храме божьем, хоть в доме отчем — порешу, как смердящего пса! Памятуй сие, изверг!

— Ну и дурак! Еще спасибо мне скажешь, когда в Америке алмазы да яхонты пригоршнями с земли в подол собирать будешь! В цепях же вас только до брандвахты продержат, дальше сами себе хлебушек горбом выслуживать будете. Ну, фаревелл тебе, простота российская!

* Подлинные названия цветов костюмных тканей в XVIII веке.

** Такой факт засвидетельствован другим русским путешественником, Павлом Свиньиным.

Вскоре после ухода Матиаса, в самую полночь, в трюм к семерым узникам вошли сразу несколько матросов. Они принесли необычное угощение — ведро горячего пунша и большую миску сладкой кашицы. Правда, пунш не отличался ароматами, не благоухал лимоном, но был оглушительно крепок и очень горяч. В трюме же температура была близкой к наружной, пленники дрожали от холода, да и железо оков остужало тело сквозь кожаные кольца. Поэтому горячий напиток так и просился в горло, так сам и полился, доставляя наслаждение. Каждому узнику позволили выпить столько, сколько он мог и желал. Баранщиков одним духом осушил кружку. Тепло отрадно разлилось по измученному телу, но благоразумие подсказало притвориться опьяневшим и больше не пить, чтобы слышать все дальнейшее. Когда матросы удалились, Василий изо всех сил напряг слух. На палубе поднялся знакомый топот вокруг судового шпиля — якорного кабестана, только датские матросы поднимали якорь без шпилевой присказки, молча.

— Абфарт! — со страхом в голосе пробормотал один из пленных немцев, приподнимаясь на локте. Якорные цепи скрежетали и лязгали, судно стало покачиваться заметнее. Пленный немец попытался вскопить. Хмель, видно, вылетел у бедняги из головы. Поскользнувшись на грязном полу, немец, гремя оковами, упал и зарыдал в голос.

На него глядя, и Василий Баранщиков крестился, придерживая другой рукою цепь. Он тоже смахивал слезы с лица и бороды. Никто не обращал внимания на пленных, команда наверху была занята маневрами. Наконец качка и мерный шум волны за бортом сморили и Василия. Он задремал, но чутким, заячьим сном, не давая дремоте полной власти над собой.

Последней надеждой пленников был таможенный досмотр. О нем много толковали матросы, купившие в Копенгагене кое-какие припасы. Баранщиков еще от Захарыча, а потом от плута Матиаса слышал, что досмотр бывает перед бранд-вахтой королевства датского. Сквозь дрему он прислушивался ко всему, что происходило на палубе.

Он различил, как подошла к носовому трапу шлюпка, догадываясь, что это — таможенная стража. Баран-

щиков стряхнул сон и поднялся на ноги. Сейчас он заявит датским стражникам...

Недовольные хриплые голоса пробасили со шлюпки какую-то команду. На борту «корабля духов» стало тише, потом отчетливо звякнули серебряные монеты, и будто коротенькая звонкая струйка пролилась куда-то вниз, вероятно прямо на шлюпочный нос. Недовольные басы смягчились, прозвучало прощальное приветствие, плеснули весла, и шлюпка отдалилась.

Так рухнула последняя надежда на спасение из плена — хозяева судна откупились серебром от таможенного досмотра. Ни один таможенный страж даже не поднимался на борт, Баранщиков хорошо это запомнил.

Не прошло и получаса после «досмотра», как трюмный люк над головами пленников распахнулся с грохотом, в темнице стало светлее, и по трапу лихо скатилась в трюм четверка датских моряков в мокрых куртках. Лица их покраснели от ветра и холода, с курток и зюйдвесток капала морская вода.

— Эй, лежебоки, поднимайтесь! Пора за работу, бородатые мальчишки, а сначала — обедать, парни!

Над скованной ногою Василия Баранщикова склонился корабельный кузнец. Он позвякал молоточком и зубилом, ловко ударил раза три, снял цепь, проговорил что-то веселое и ткнул московита кулаком в бок, выражая ему свое расположение. Через десяток минут Василий Баранщиков, пятерка немцев и хмурый долговязый швед были уже на палубе. Им коротко объяснили, что бранд-вахта пройдена благополучно и что теперь они должны работать матросами за дополнительную порцию еды. Кто не желает — может убираться назад, в холодный трюм, и там издыхать от истощения: акулы, мол, не отказываются и от такого угощения, как труп околевшего с голодухи лентяя! Для сговорчивых же найдется местечко в кубрике и соломенный тюфячок...

...Далеко за кормою исчезали очертания города Хельсингера с грозной крепостью Кронборг, над которой развевалось алое датское знамя с белым крестом. А на противоположной стороне узкого пролива, над башней шведского города Хельсингборга трепетал золотой крест на синем флаге шведского короля.

Судно вышло на простор мелководного, но бурного и опасного Каттегата, и вскоре земля датская и земля шведская стали невидимы для Василия Баранщикова. Чтобы отогнать тоскливые мысли, не поддаваться отчаянию, он прилежно нес матросские обязанности, норовил быстрее исполнять команды, до тонкости постигая хитрое управление парусами. На вторые сутки миновали пролив Скагеррак с глубинным подводным течением, уносящим в океан балтийскую волну. Северное море встретило моряков неласково, но и его прошли без задержки и завернули в «канал аглицкий», как именовал боцман Захарыч проливы Па-де-Кале и Ла-Манш.

Здесь встречали великое множество судов под всеми флагами, но пленным было строго запрещено подавать им какие-либо знаки. За ослушание грозила смертная казнь на месте.

Да и кто обратил бы внимание на самые отчаянные знаки семерых узников? Мало ли бедного подневольного люда везли по «аглицкому каналу»? Кого корабли уносили на каторжные рудники в Каледонию и Австралию, кого в долговое рабство на колониальные плантации. Везли молодых немецких крестьян на побережье Северной Америки проливать кровь за короля Георга III против американского генерала Георга Вашингтона. Везли и самый обычный груз ливерпульских негоциантов — цветных рабов для Виргинии, Кубы или Луизианы.

Здесь морякам все это было так же привычно, как, скажем, глядеть на транспорты лошадей для кавалерии или гурты скота для боен. Провожая взглядом невольничий корабль с черными или белыми рабами, английский, французский, американский матрос равнодушно курил свою трубку и весьма хладнокровно судил о том, какая часть груза живьем дойдет до Америки и сколько гиней уделит капитан-работорговец из своей прибыли матросам. Всего этого Василий Баранщиков до тонкости знать не мог, но одно признавал вполне ясно: здесь, в «аглицком канале», белому рабу рассчитывать на чью-либо помощь нельзя!..

В серой дымке растаяли и аглицкие берега. Наступила ночь. Далеко-далеко за кормой в последний раз

мелькнул свет Эддистонского маяка, видимого за десятки верст. Последний огонек Европы! Прощай навсегда, жестокий Старый Свет!

ПОД ТРОПИКОМ РАКА

И день пришел, когда явился белый,
Он был хитрей и злее всех смертей.
Выменивал он золото твое
На зеркальца, на бусы-безделушки.
Насиловал твоих сестер и жен,
И спаивал твоих сынов и братьев,
И в трюмы загонял твоих детей.
Тогда гремел тамтам по деревням
И люди узнавали, что отчалил
Чужой корабль к далеким берегам,
Туда, где хлопок — бог, а доллар — царь.

Патрис Лумумба

Перевод Павла Антокольского

Средний ход датского «корабля духов» в открытом океане возмутил бы даже библейского Ноя, ибо равнялся одному-двум узлам. Четыре тысячи миль океанского простора между Копенгагеном и датскими колониальными владениями в Вест-Индии судно едва одолело за полгода. За весь этот рейс оно не сделало ни одного захода в островные бухты, не обменялось сигналами ни с одним встречным кораблем, не пополняло запасов воды и провианта. Морозы постепенно сменились жарой и страшными грозами. От плохой, уже затхлой, воды, подмоченного, вонючего риса и тухлой солонины матросов мутило. Горше всех приходилось пленникам: на их долю всегда доставались худшие куски!

Июньское жаркое утро 1781 года только начиналось, когда оба судовых якоря с плеском ушли на дно уютной бухты. Остров Святого Фомы! Чудесный остров в водах Вест-Индии — датская колония с 1671 года!

С берегов долетел до корабля незнакомый, пленительный и манящий запах. Это был аромат цветущего лавра, сандалового дерева, пряного перца, еще каких-то неведомых трав и растений... И странно: от этого запаха суши у Баранщикова еще сильнее защемило на

сердце, потому что это был запах чужбины, «края света»... Тоскливо огляделся нижегородец, но все, что он увидел с палубы, было очень красиво.

Яркая зелень тропической растительности, высокие пальмы, раскидистые бананы с огромными причудливыми листьями («Можно и постлать, и укрыться», — подумал Василий), удивительные кусты и цветы напоминали раскрашенные картинки рая из Библии, по которой Василий некогда выучился читать. И все время неотступный, манящий, привлекающий и будто чуть одурманивающий аромат!

Белые домики города Святого Фомы и невысокая колокольня лютеранской кирки приветливо глядели из-за пышных зарослей. На воде красивой бухты дрожало отражение трех невысоких гор с темно-зелеными склонами и скалистыми вершинами. Впоследствии Баранщиков узнал, что первые европейцы-моряки, поселившиеся на острове, прозвали эти три горы названиями корабельных мачт, и эти странные имена гор — Фок, Грот и Бизань — сохранились навсегда.

Здесь, на краю земли, Баранщиков никак не ожидал увидеть такой мирный уголок, встретить такой чистенький уютный европейский городок, в котором было даже что-то праздничное. Толпа на берегу состояла из темно-коричневых или совсем черных людей, одетых или полунагих. Поодаль от негров и мулатов стояла кучка белых людей; среди них выделялись мундиры офицеров и широкие шляпы дам. Наряды этих дам ничем не отличались от тех, что носили в Европе.

Пленные простились со своей плавучей тюрьмой. Их перевезли шлюпкой на берег и привели каменистой тропинкой к приземистому зданию ротной казармы. Здесь, на гладко утрамбованном плацу, маршировали солдаты в париках с косицами, похожие на прусских, только в легкой серой одежде, должно быть сшитой из стиранных и слегка отбеленных парусов. При входе в казарму их встретил и придирчиво осмотрел комендант острова Святого Фомы, толстый немец, майор датской службы.

— Рус? — удивился комендант, услышав фамилию Баранщикова. — Отличный экземпляр! Если при таком завидном росте и такой силе он еще и одарен необхо-



димым отсутствием мыслительных способностей, то у него есть все данные, чтобы стать со временем отличным милитером, сиречь, военнотружущим... гм! я хочу сказать, невысокого, конечно, ранга! — спохватился и поправил себя комендант. — Но, знаете ли, — обратился майор к своему адъютанту, — настоящее имя этого москвитя лучше... предать забвению.

— Позвольте спросить, господин майор, по какой причине? — почтительно осведомился адъютант.

— Так будет спокойнее. Черт их знает, этих русских. У них, видите ли, здесь, поблизости, на французской Мартинике, есть, говорят, какой-то дипломат,

драгоман или консул. Если он разнюхает про земляка, могут получиться осложнения, пойти запросы, понимаете? Да и выговорить невозможно! Попробуйте скомандовать солдату: Барантишкофф Василей! Уф! Нет, это невозможно! Дас ист ганц унмеглих! Пусть-ка он называется, ну, хотя бы, Мишель Фройндлих, у него такое... незлое лицо. Ну-ка, повтори, голубчик, свое правильное имя: Мишель Фройндлих!

— Так что, ваше благородие, трудновато, не выговорю: Мишель Фре... Мишель Фру...

— Пфуй, тойфель! Вот история! Ну, ладно, пусть он называется Николаефф, Мишель Николаефф. Я знал такого солдата в моем милом Шлезвиге. Этот солдат Николаефф был русского происхождения, но датский подданный, и он умер, то есть, его умерли, убили на войне. Не правда ли, отлично иметь такую память на людей и помнить даже своих убитых солдат, а? Теперь мы легко утрем нос этому драгоману с Мартиники, если он, паче чаяния, вздумал бы выручать земляка Баранщикова, не так ли? Капрал Кристенсен! Отведите новобранцев в казарму. Пойдемте, лейтенант. Я очень доволен сегодняшним пополнением, наш камрад Матиас не даром ест наш хлеб, пьет наш ром и носит обезьяньи камзолы и кафтаны... Я рад, что мы получили несколько добрых послушных солдат, все эти события по соседству мне чертовски не нравятся. Смотрите, как новички славно маршируют в казарму! Раз-два, раз-два! Боюсь, им всем скоро придется понюхать пороху, мы живем на опасном вулкане... Раз-два, раз-два!

...С этого дня Василий Баранщиков и его шестеро товарищей были «поверстаны в датскую военную службу». Здешнюю колониальную армию строго муштровали. Два месяца прошли в непрерывных экзерцициях. Новобранцев обучали ружейному артикулу, построениям и перестроениям, залповой стрельбе. Майор комендант, его адъютант и почти все остальные офицеры гарнизона были немцами из Шлезвиг-Голштинии; воинские порядки — скопированы с прусских. Дисциплину поддерживали здесь мучительными наказаниями, в солдатах воспитывали слепую покорность, жестокость, бесчеловечность. Обращались с ними грубо, кормили плохо.

Василий Бараншиков больше всего тосковал по домашнему печеному хлебушку, потому что здесь взамен хлеба солдатам полагалось по фунту так называемого «шкофта» — очень странной смеси из бананного мякиша, смолотого кофе и небольшого количества плохой муки.

По утрам солдаты выпивали по чашке кофе с ложкой сахарного песка, вечером съедали кокосовый орех. Кроме того, солдатам выдавали на день по двенадцать датских штиверов жалованья, около двадцати четырех копеек на русские деньги. Можно было бы прикупить хорошую пищу, но в тавернах при гавани продавался ром, стоивший недешево, хотя выгоняли его на острове из остатков патоки, или мелассы. При варке сахара она считалась отбросом и шла на корм скоту или на выделку рома. Солдатское жалованье утекало в таверны, обогащая хозяев острова. Крепился один Бараншиков. Он твердо решил не давать больше спиртного власти над собой. Штиверы он потихоньку прятал: рано или поздно, но представится же возможность убежать! Иначе нечего и цепляться за постылую жизнь на чужбине!

Когда наконец капрал доложил лейтенанту, а лейтенант — коменданту, что обучение новобранцев закончено, велено было привести всех семерых к присяге.

Воскресным утром в середине августа 1781 года семерых новых солдат повели к зданию островерхой лютеранской кирки. Церковь была открыта, у входа толпились жители города — островные купцы, плантаторы с дочками и розовощекими сынками, чиновники, офицеры и мелкие служащие. Кучка негров робко жались к ограде храма, готовая вмиг укрыться от сердитых взоров в заросли мангустаны и душистых лавров. Среди негритянок Бараншиков заметил несколько красивых стройных девушек, изящно одетых, но державшихся тоже поодаль от белой толпы, хотя по цвету кожи многие из них мало отличались от европейских женщин. Василий знал, что все эти молоденькие негритянки и метиски находятся в услужении у богатых владельцев плантационных хозяйств, знал, что если пристальнее взглядеться в глаза любой из них, то в глубине этих карих и черных глаз уви-

дишь безысходную тоску. А что одеты иные как ба-рышни — то прихоть хозяйская!

Церковь показалась Баранщикову очень странной и бедной: ни золота, ни икон, ни кадильного дыма. Люди молились не стоя, а сидя на скамьях с высокими спинками; а на спинках, как ноты у музыкантов в походном военном оркестре, лежали молитвенники, раскрытые на одном и том же псалме. Позади всех, на возвышении, огороженном бархатными канатами с кистями, восседал майор — комендант гарнизона вместе с самыми богатыми плантаторами.

Новобранцев подвели к алтарю, заставили опуститься на колени перед баллюстрадой, обитой красным плюшем, и комендант гарнизона с важностью подал знак начать церемонию. Пастор и церковный служитель-кюстер принесли из-за алтаря свернутый датский королевский флаг. Когда полотнище развернули, Василий узнал знакомый белый крест на красном поле.

— На кресте господнем поклясться повелят! — со страхом и горечью подумал Баранщиков. — Богу клятва — это тебе не вексель купеческий. Поди развяжись потом с этой клятвой!

Новобранцев заставили взяться руками за узкую сторону флага, при этом на хорах заиграл маленький орган. Все, кто находился в церкви, запели псалом, а пастор, обернувшись к алтарю и воздев руки к небу, торжественно произносил слова молитвы. Потом капрал Оле Кристенсен стал тихонько называть по имени новобранцев, давал целовать подножие креста на знамени и расписываться в толстой книге. Пастор благословлял присягнувших.

Из пятерых немцев только двое сумели самостоятельно расписаться, трое остальных, а с ними и долговязый швед, кое-как нацарапали крестики, подписался за них капрал. Дошла очередь присягать и до Василия Баранщикова.

— Мишель Николаев! — негромко позвал капрал.

Будто огромная гора скатилась с плеч у Василия. Весьма быстро, охотно и ловко, с чувством живейшего облегчения, Баранщиков проделал всю церемонию, а подписываясь в книге, столь размашисто расчеркнулся гусиным пером, что даже чернильные брызги окро-

пили соседние росписи. За лихость и сноровку комендант велел наградить расторопного солдата-руса пятью штиверами и стаканом церковного вина. Василий же радостно думал про себя:

— Господи, стало быть не я в ответе перед тобою буду, коли клятву сию нарушу и от службы королусу датскому сбегу! Ибо за присягу на верность его величеству Христиану Седьмому не Василий Баранщиков, а Мишель Николаев на страшном суде ответит!

На другой же день началась регулярная солдатская служба Баранщикова в датском гарнизоне острова Святого Фомы. Новобранцы несли службу в порту, охраняли кордегардию и цейхгаузы, надзирали за работой цветных рабов на сахарных и кофейных плантациях. Но чем пристальнее присматривался датский комендант острова к новому пополнению своего гарнизона, тем меньше доверия внушал ему рослый нижегородец, когда он, с ружьем в руке, стоял в карауле на охране датских коммерческих интересов!

Развалился в качалке на балконе своего дома, комендант гарнизона, майор датских королевских войск, читал и перечитывал письмо от отца из далекого Шлезвига. Дома, в метрополии, все еще неспокойно, чернь еще волнуется, не изгладилась из памяти людской ужасная казнь министра Струензее и печальная гибель юной датской королевы, сестры английского монарха.

Ох уж этот Струензее, государственный реформатор и демократ! Сколь необычна его бурная, короткая судьба! Дворцовый медик, потом доверенное лицо Христиана VII и его бывшей семнадцатилетней супруги Каролины-Матильды. Потом — министр, а вскоре и глава правительства. Ну, и тайный возлюбленный Каролины-Матильды! Его любовная связь с особой царствующего дома была использована как предлог для суда, и в конце концов Струензее взмошел на эшафот. Но человек этот успел улучшить государственные финансы, администрацию, промышленность, облегчить участь крепостных. Кучка оттесненных им аристократов во главе с мачехой короля сумела опозорить и погубить реформатора. Чернь сперва улюлю-

кала, когда палач на площади, прежде чем обезглавить обреченного, рубил ему руки, дерзнувшие подписать небывалые в Дании законы — об отмене пыток, цензуры, барщины... Ныне же, спустя годы, народ еще громче ропщет против аристократов, отменивших реформы и казнивших самого творца их. Жалеют в народе и грешную королеву, которая, в надежде спасти любимого человека, призналась в близости к нему, была заточена в крепость и быстро угасла от горя вместе с грудной дочуркой. Эта печальная история породила немало народных песен и опасным образом волнует умы черни...

Майор задумался так глубоко, что отцовское письмо соскользнуло на пол. Здешние дела — еще тревожнее. Неподалеку от острова, вверенного заботам майора, идут военные действия между войсками британского короля Георга III и восставшими против его власти колониями. Бунтовщики объявили себя, извольте ли видеть, Соединенными Штатами. Тоже, подумаешь, штаты! Толпа голодранцев против коронованного монарха! Каперы этих американских голодранцев, а также, что греха таить, и королевские, то и дело шныряют теперь поблизости, норовя под шумок отщипнуть в общей свалке кусочек от датских богатств. Долго ли до беды при таких событиях?

Плантаторы на острове перестали спать спокойно, выставляют на ночь охрану, держат ружья и пистолеты в изголовьях и требуют, чтобы администрация побольше вербовала белых солдат-наемников для островного гарнизона: скверные вести пришли с побережья Перу и Кито*, а они, увы, поближе, чем Дания! Там в Перу вспыхнула кровопролитная война коренных индейских племен против нынешних хозяев Южной Америки — испанских завоевателей.

В одном из глухих перуанских селений нашелся смельчак по имени Кондорканки, вздумавший возродить былую государственную мощь народа инков. Кондорканки приходился сродни последнему императору инков Тупак Амару Первому, которого испанцы успешно обманули, схватили и назидательным образом казнили лет двести назад на площади города Ку-

* Кито — прежнее название республики Эквадор.

ско. И вот праправнук казненного народного героя принял его имя и поднял восстание. Шестьдесят тысяч индейцев объединились под его знаменем, прогнали испанских помещиков и администраторов и одержали важные военные победы. Однако и Тупак Амару Второй имел неосторожность поверить некоторым хитрым обещаниям испанцев. Слава богу, они схватили и этого бунтовщика! Испанские колониальные власти, разумеется, подвергли вождя инков такой же мучительной казни, как и его предшественника, и даже на той же площади древнего Куско. На глазах всей семьи осужденного палачи вырвали у него язык, растерзали на части тело и тут же предали останки огню. Затем были обезглавлены все члены семьи Кондорканки — его юные сыновья, дочери, жена, чтобы казненный вождь не оставил на земле инков потомства. Как рассудительно!

Однако же дерзких индейцев не устрасило зрелище этой расправы. Силы повстанцев даже возросли. Они осадили несколько городов. Подумать только, какое варварство! Воевать против христианского народа из-за какого-то казненного царька с его детенышами!

До сих пор датчане не очень-то ладили со своими соседями-испанцами, но... общая опасность сближает! Боже мой, как все же предусмотрительно было со стороны первых белых колонизаторов Вест-Индии — добрых голландцев, гордых испанцев, изяшных французов, точных англичан и грубоватых португальцев, не говоря уже о добропорядочных датчанах, — поголовно истребить всю эту индейскую нечисть на Антильских островах. Ни на острове Святого Фомы, ни на Пуэрто-Рико нет больше ни одного живого индейца из коренных карибских племен. А ведь было их некогда более шестидесяти тысяч только на одном Пуэрто-Рико! Какая огромная благодарная работа — уничтожить такое множество цветных! Истребляли их всеми средствами, доступными цивилизованному, христианскому миру: устраивали облавы и охоты на индейцев, приманками ловили голодных ребятишек и, заразив их опасными болезнями, отпускали в горы, к племенам, укрывшимся от преследования в пещерах. Разве это не дальновидно?

Впрочем, истреблять всех туземцев не было надобности. Сильных индейских мужчин, которых удавалось схватить живьем, заставляли работать на рудниках. На всех островах Вест-Индии имелось рассыпное золото, и индейцев использовали на промывке песка. Солнце, голодный паек и бичи делали свое дело: индейцы очень скоро подыхали. Уже к концу XVII века на всех вест-индских островах, занятых испанцами, англичанами, голландцами и датчанами, коренных жителей — индейцев — не осталось. Тогда колонизаторы нашли неиссякаемый, почти волшебный источник богатства: начали ввозить сюда для черной работы черных людей — негров.

Сотни тысяч черных рабов теперь не покидают ни днем ни ночью цветущих плантаций. После дневного труда они спят в шалашиках, прямо на возделываемой ими земле. Труд негров превращает в явь мечты плантаторов о сказочном Эльдорадо: белые хозяева плантаций живут в мраморных дворцах, едят на золоте, ездят в роскошных каретах, и сотни слуг предупреждают малейший каприз хозяина. Нигде в мире власть над черными рабами не приносила белым владельцам столько наслаждений, как здесь, в Вест-Индии блаженного XVIII века!

Но увы — эта власть, считавшаяся незыблемой, в последнее время становится шаткой. То, что представлялось невозможным — сговор негров между собою, — повторяется то тут, то там, все чаще. Ведь, казалось бы, столкнуться им немыслимо: привозят их из разных областей Африки, они не имеют ни общего языка, ни общих обычаев, ни даже общих воспоминаний о родине. Они незнакомы со здешними условиями, не знают ни климата, ни местности, ни людей. Их немедленно, часто еще в пути, обращают в христианство и учат покорности. Целая армия попов и монахов-миссионеров занята этим богоугодным делом на всех плантациях. И все-таки...

В Новой Гранаде * недавно было восстание негров, индейцев и креолов. Лишь регулярные испанские части смогли вдосталь накормить голодных повстанцев свинцом и навести порядок. Пожар восстания был за-

* Прежнее название Колумбии.

лит негритянской кровью. Но разве в других местах не грозят такие же возмущения? Вот, например, соседний остров Гаити. Большая часть его принадлежит французам, остальная — испанцам. Белых на Гаити — ничтожная кучка, а черных — около полумиллиона. Ежегодно туда привозят по 20—25 тысяч новых рабов. Обращение с ними самое суровое. Это тамошние плантаторы придумали мудрое правило: лучше умерить негра работой в молодости, чем потом кормить его в старости. Лет шестьдесят назад, в 1718 году, рабы-негры на Гаити возмутились. С тех пор там усилены белые гарнизоны, французские и испанские, но положение снова становится опасным: в горах, по слухам, скопились тысячи беглых рабов, называемых «маронами». Это грозит хозяевам плантаций новыми трудностями *. И эта угроза становится повсеместной. Поэтому и на острове Святого Фомы имеется надежный белый гарнизон. Гм! Надежный гарнизон? На поверку выходит, что надежным-то он является не весь!..

Комендант гарнизона отвлекся от своих невеселых размышлений, ибо мимо балкона, где он лежал в своей качалке, промаршировал взвод солдат. Вон, во второй шеренге, за правофланговым шведом, шагает, опустив голову, этот силач рус, Мишель Николаефф. Владельцы плантаций недовольны им. Негодяй совершенно непригоден для решительных мер! Он неумело обращается с оружием, когда требуется пустить его в ход против непокорного или невежливого раба. Позор для солдата! Кроме того, согладатаи доносят, что он питает тайные мысли о побеге и даже пронюхал о русском переводчике Каржавине на французской Мартинике. Неблагонадежный солдат даже пытался писать на Мартинику, но оттуда пришло известие, что дипломат и коммерсант Каржавин лишился всего имущества вследствие землетрясения и уехал в Америку на провиантском судне купца Дальтона. Даст бог, это охладит русскому медведю Мишелю Николаеффу го-

* Великая революция негров на Гаити, начатая спустившимися с гор «маронами», произошла позднее, в 1791 году. В полночь 22 августа запылали тогда по единому сигналу 1200 кофейных и 200 сахарных плантаций. Руководил повстанцами легендарный Туссен Лувертьюр.

лову, набитую сумасбродными планами бегства! А что, если он все-таки выйдет из повиновения и покажет дурной пример остальным? Придется расстрелять, а ведь это убыток для компании, не дай бог! Уж очень он эффектен в караулах и на смотрах! Лучше всего обменять его на парочку цветных, но только так, чтобы оправдать расходы по вербовке! Сбыть его повыгоднее — и лишняя забота с плеч!

— Разрешите доложить, ваша милость! — прервал размышления коменданта запыхавшийся солдат. Он вытянулся в струнку перед балконом и приложил потную ладонь к засаленной треуголке. — Британское судно просит разрешения войти в порт. На корабле флаг бедствия. Начальник порта велел спросить вашу милость...

— Передай начальнику портовой стражи, — приказал комендант, — пусть он сам осмотрит судно. Если на борту нет опасной болезни — впустить в бухту! Иначе придется капитану поскорее убираться ко всем чертям от наших берегов: поднимается шторм, он разобьет судно о скалы. Ступай!

Солдат убежал, а майор вооружился подзорной трубой и перешел на другую, увитую плющом террасу, откуда открывался вид на бухту и рейд. Английское судно уже приспустило паруса. На гафеле полоскался сигнал: «Терплю бедствие». К судну уже шла сторожевая шлюпка. На горизонте виднелись паруса другого судна, тоже спешившего к порту Святого Фомы. Океан мрачнел, ветер гнул стволы кокосовых пальм, сбрасывал спелые орехи, трепал листья бананов. Прибой забушевал сильнее, и под густой синей тучей отчетливо забелели гривы разыгравшихся волн. Комендант пристально вгляделся в очертания английского корабля.

— Ба, да ведь это же «Песня ветра» нашего друга мистера Уильяма! Добрая посудина! Самое быстроходное судно для живого товара! Добро пожаловать! Но, черт побери, что же там стряслось, на судне капитана Уильяма? А второй корабль — видимо, большая яхта. И, кажется, тоже знакомая — не губернаторская ли с соседнего Пуэрто-Рико? Так и есть, она самая! Видимо, хотят переждать шторм в наших водах. Что ж, придется позаботиться о хорошем ужине. Эй! Слуги!

Дворецкого и кастеляна — ко мне, да скажите жене, что вечером у нас будут важные гости! И позвать сюда из казармы капитала Оле Кристенсена. Пусть придет самых рослых солдат для почетного караула у крыльца и под окнами.

Василий Баранчиков рассказывал в парадной форме, с ружьем на плече, под окнами комендантского дома. Ходить приказано до тех пор, пока гости улягутся спать.

Все окна в доме открыты настежь и завешены легким прозрачным тюлем. Комнаты празднично освещены, десятки свечей зажжены в каждой люстре. Деревья сада, пустую террасу и фигуру самого постового озаряет луна. Караульщик может свободно разглядывать сквозь тюль всех, кто находится в столовой. По английскому обычаю, дамы уже покинули комнату, оставив джентльменов наедине с батареей бутылок: пришел час мужских напитков и мужских разговоров. Василий прислушивался к громкой речи щеголеватого британского капитана, чье судно, неосвещенное и молчаливое, темнело на воде бухты рядом с большой испанской яхтой.

— Мое судно, — рассказывал капитан, — до сих пор всегда подтверждало точность поговорки: «Успех торговли — быстрая доставка». Нынешний же рейс не оправдал надежд, хотя начался он неплохо. Исход его принес одни убытки. Я потерял даже часть команды.

— А груз? — осведомился важный испанский генерал, сидевший на самом почетном месте за столом. — У вас на борту были чернокожие или на этот раз вы набили трюмы «Песни ветра» иным товаром?

— Нет, груз был обыкновенный — «черное дерево», то есть африканские негры. Именно груз-то и пострадал! Если бы прошлые рейсы не были столь удачными, я остался бы теперь без денег вплоть до выплаты страховой премии.

— Где вы застраховали груз? — спросил хозяин дома.

— У Ллойда, как всегда, господин майор. Его представитель всегда болтается в африканских портах, на

Берегу Слоновой Кости. Он осматривал мой груз перед рейсом и отослал страховые бумаги в Лондон.

— Что же произошло в этом рейсе? — вмешался в разговор лютеранский пастор. Он сидел рядом с хозяином и переводил ему на немецкий язык те слова, которых комендант не понимал по-английски. Пастор был худощав и бледен. Его бокал все время оставался наполненным до краев. Священнослужитель притрагивался к нему лишь для того, чтобы чуть-чуть оросить губы розовой влагой. Католик-генерал, восседавший очень прямо и неподвижно, изредка неприязненно косился на мелькающие по соседству черные рукава рясы или на белоснежные ленточки галстука, ниспадающие на грудь лютеранского пастора. Грудь самого генерала украшало золотое шитье, и на этом великолепном фоне сияли орденские звезды и кресты, осыпанные драгоценными камнями.

Сквозь открытое окно Баранщикова была хорошо слышна вся эта беседа, и смысл того, о чем говорилось, делался все яснее. Английский капитан, встречая явное сочувствие слушателей, рассказывал: *

— В начале рейса у меня было более двух сотен чернокожих с берегов Гвинеи... Впрочем, начну с самого начала! По прибытии в Африку мне сперва показалось, что я вообще на сей раз прогадал. В Дагомее, в одном лишь Порто-Ново, я застал восемь судов — французских, голландских и наших. Чтобы не набивать цены на чернокожих при таком обилии покупателей, я пошел к берегам Того. Здесь я застал пятерых купцов, а в Аккру — в стране Ашанти — прибыл седьмым! Все же я, не убоившись конкуренции, выторговал себе у одного туземного царька отличных здоровенных негров, можно сказать самый цвет всего племени.

— Что же вам помогло одержать такую победу над соперниками? — чуть насмешливо спросил генерал.

— Мне просто повезло, ваше превосходительство. Те имели только цветные одеяла, ткани, бусы, ножи и прочие предметы, пленительные для негритянских

* Весь эпизод засвидетельствован английскими источниками. Изменены лишь название корабля и фамилия капитана.

вельмож, а у меня оставалась непроданной тонна вашего сахара и десятка два бочонков рома. Получилось так, что ром и сахар смог предложить я один, и это решило исход моей борьбы с конкурентами. Я купил двести одиннадцать негров, которые, в общем-то, обошлись недешево благодаря неважной конъюнктуре. Два месяца назад я вышел с грузом из Гвинейского залива. Скоро на борту началась какая-то болезнь. Сначала мы не могли взять в толк, отчего они хватаются за животы и подымают. Потом мой помощник первым понял в чем дело: оказалось, что боцман недоглядел за погрузкой воды, и она протухла в невымытых бочках. Только для команды имелось несколько бочонков свежей воды. Ну, думаем, что делать!

— Какое ужасное положение! — воскликнул пастор. Баранщиков узнал его: это был тот самый пастор, которому «Мишель Николаев» принес воинскую присягу.

— Да, господу было угодно строго покарать нас за грехи... Мы лишились нашего имущества. Я хотел спасти груз — зайти на Бермуды и взять на борт свежей воды, — но за мной увязался американский капер. Судно у меня, как вы знаете, исключительно быстроходно. При хорошем ветре я делаю пятнадцать узлов... Конечно, при такой стройности бортов трюмы не могут быть... особенно просторными, и болезни всегда уносят пятую, четвертую, иногда и третью часть груза, зато даже от любого военного корабля я уйду легко! На этот же раз стояла почти штилевая погода, и мы трое суток удирали от проклятого американца. Пришлось далеко отклониться от курса, Бермуды остались в стороне, и мы оказались один на один с пустынным океаном! Пробовали кипятить тухлую воду — в камбузе стояла такая вонь, что матросов тошнило. А хорошая вода подходила к концу. Положение становилось безнадежным. В трюмах еще было 132 негра. Вы понимаете? Даже по одной кружке воды в сутки это составило бы литров шестьдесят-семьдесят, а у нас-то оставалось полтонны на экипаж. Я вынужден был отдать команду, и матросы... выкинули груз в море.

— Как выкинули? Их, что же, пришлось насильственно... умерщвлять? — удивился пастор.

— Да нет, просто ночью их поодиночке выводили на палубу и... сбрасывали в воду. Страшно обидно было, господа. Выбросить в море 132 здоровенных гвинейских негра, из которых самый низкорослый был всего на полфута ниже того великолепного гвардейца, что марширует там с ружьем под нашими окнами! Да, погиб заработок целого рейса. Страховая премия его не окупит!

— Так, так, — задумчиво проговорил пастор. — А если представить себе страдания этих несчастных язычников! Сначала в тесноте темного трюма, когда их товарищи и родные умирали рядом, потом мучения жажды и наконец ужасная насильственная смерть ночью в морской пучине... Как это жестоко!

— Новые земли требуют новых жертв. Колониям нужны выносливые руки. Негры неприхотливы, они лучше индейцев годятся для работы на плантациях, — проговорил комендант. — Все эти трудности и жертвы приходится переживать и приносить во имя цивилизации, ради будущего новых поколений белых людей, ради наших детей и внуков, которые покорят природу и окончательно подчинят себе низшие расы на земле.

— Господа! — пастор обвел присутствующих вопрошающим взглядом. — Но ведь если допустить, что люди этих низших рас тоже обладают теми же пятью чувствами, что и мы — люди белой расы...

— В этом я не сомневаюсь, — сказал капитан убежденно. — Они чувствуют подобно нам, и даже мыслят. Но ведь и бык, и лошадь, и собака чувствуют боль, страх, радость. Бойни Лондона тоже могут показаться жестоким учреждением. Но скот — есть скот, созданный богом на потребу человеку, как и цветные расы предназначены служить белому человеку. Таково божественное предначертание, порядок, нужный для благоденствия на земле. Но, господа, не довольно ли серьезных речей? Не соскучились ли наши дамы?

Василий Баранщиков отошел в тень, подальше от окна. В столовой задвигали стульями. Собеседники стоя докуривали свои сигары и трубки.

— Так вы надеетесь получить от Ллойда страховую премию? — спросил генерал.

— В случае каких-нибудь уверток Ллойда британский суд не может отказать мне в столь справедливом иске. — Я — жертва стихий и войны*.

— Вот тебе на! — думал Василий Баранщиков. — Чем судить злодея за убийство ста тридцати двух ни в чем неповинных душ — ему еще награда обещана! Уж на что в нашей России-матушке злые помещики случаются, а такого душегуба не видывал: полторы сотни людей живьем в море рыбам спустил и себя за это жалеет! Помоги бог выбраться отсюда!

Открылась дверь на террасу. Баранщиков вытянулся и замер на месте, взяв ружье «на караул». Увлеченные беседой господа не обратили на него никакого внимания. Огоньки их трубок, сигар и сигарет рассыпали в воздухе искры и при энергичной жестикуляции чертили огненные ленточки. Воздух наполнился ароматом табака, вываренного в меду, крепленного опиумом и другими снадобьями. Английского капитана кто-то спросил о выгодах последних рейсов, в отличие от нынешнего, неудачного. Капитан весело и с гордостью перечислил свои недавние удачи, позволяющие спокойно ожидать премии за понесенную потерю.

Так, в позапрошлом, 1779 году он получил восемь тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли на продаже 270 черных рабов, доставленных в Америку. В прошлом, 1780 году заработал 5700 фунтов, продавши 250 негров «неважной упитанности и здоровья». Предпоследний его рейс дал 1308 фунтов прибыли — он продал сахарным плантаторам на Кубе негритянских женщин и ребятишек, приобретенных почти бесплатно: в глухом африканском порту в Камеруне этих женщин удалось обманом заманить на корабль. Им обещали показать женские безделушки и украшения, будто бы приготовленные для продажи.

— Как священнослужитель, я позволю себе спросить вас, мистер Уильям, — обратился к капитану пастор. — Наш капрал сказал, будто с вашего корабля высажено несколько закованных в цепи людей. Кажется, они... не цветной расы. Не мятежники ли они? За-

* Капитан оказался прав: герою этого невымышленного эпизода британский суд присудил страховую премию. Цифры, приводимые ниже, — документальны.

блудшие души нуждаются в слове божьем. Наверно, это преступники с континента?

— Увы, господин пастор, они — из моей команды. Я и на этом терплю убыток. Повторяю вам: этот рейс принес мне одни неприятности. Эти люди — завербованные шотландцы и ирландцы. Как обычно, я согласился перевезти их бесплатно через океан, используя в пути как низших матросов. Здесь же хозяева плантаций берут вновь прибывших на работу, а расплачиваются со мною. У нас цена на это твердая: за доставку — сто фунтов — ведь мы кормим этих бедняг в дальнем пути! — а плантатор получает белую рабочую силу сроком на семь лет.

Баранщиков прислушался внимательно. Он знал, что такие сделки английских капитанов с английскими же бедняками обычны и что даже есть название для этих перевезенных через океан белых рабов: кабальные слуги. Обычно ни один не выживает страшных семи договорных лет. Ведь с ними обращаются более жестоко, чем со скотом. Скот — пожизненная собственность хозяина.

— Но за что же их заковали в цепи? — продолжал расспрашивать капитана пастор.

— За то, что вели себя на борту как сумасшедшие, когда матросы сталкивали негров с корабля. Один, ирландский детина, здоровенный как лошадь, призывал на мою голову такие проклятия, будто я действительно поступал бесчеловечно, а не спасал свою команду. За подстрекательство негров к бунту, а матросов к неповиновению мне пришлось повесить ирландца на рее. Ну, а остальным мы надели прочные браслеты. Теперь они присмирели, поняли наши порядки! Завтра вы их посмотрите. А если не подойдут — я с выгодой уступлю их джентльменам на Ямайке — там очень, очень не хватает рабочих рук.

— Нет, зачем же везти их на Ямайку! — поспешно вмешался комендант. — Завтра мы поглядим их, может быть, и сторгуемся с вами. Хотя лично я, капитан, всегда предпочитаю негров. Чернокожие прекрасно переносят здешний климат и способны день-деньской работать под нашим солнышком. Белый этого не вынесет не то что семь лет, а и семь месяцев!

Тут к джентльменам, увлеченным деловой беседой, явился дворецкий, чтобы от имени прелестных и скучающих дам напомнить господам о вещах более привлекательных, чем служебные тяготы, торговые убытки и мертвые рабы. Мужчины спохватились, побросали свои сигары и трубки и шумно двинулись назад, в комнаты. Вскоре послышались звуки настраиваемых инструментов. Потом приятный женский голос запел песню на испанском языке. Пела красивая донья Мария, супруга испанского генерал-губернатора и коррехидора большого соседнего острова Пуэрто-Рико.

Бараншиков, тяжело потрясенный всем услышанным, продолжал расхаживать перед окнами опустевшей столовой. Когда же, наконец, сменят? Завтра снова вставать с рассветом на постылую службу. Ну и порядки! Оказывается, чтобы обрабатывать земли, украденные у индейцев, нужно в Африке воровать негров. А коли не удастся обманом заполучить их на корабль, то сотни людей покупаются за несколько бочонков рому?

Василий уселся на скамью под пальмой, сбросил треуголку и поставил ружье между коленями. Ночевать под открытым небом ему здесь еще не случалось, и он видел южное ночное небо только со двора казармы. Тут, в прекрасном саду комендантского дома, тропическая ночь раскрывалась перед ним во всей своей красоте. В лунном свете серебрились гладкие пальмовые листья, на песке широких дорожек лежал причудливый теневой узор; сквозь кроны пандановых деревьев мерцало теплое звездное золото, а самый воздух, горячий, недвижимый и пряный, словно был настоен на цветах и травах.

Но красота этой природы нынче не успокаивала растревоженной души подневольного, утомленного человека. Он был простым российским мещанином, не водил знакомства с учеными, образованными людьми, умел только читать и писать и сизмальства верил тому, что слышал в сладкогласных церковных проповедях. Он боялся греха, помнил про совесть и дружелюбно относился к людям с иным цветом кожи, чем его собственная. Теперь он понял, во что может жадность превратить человека, какое зло человек мо-

жет сотворить другому ради наживы, барыша, корысти.

Борясь с дремотой, Василий думал о том, что и сам он недавно приплыл сюда на невольничьем корабле, где тоже была противная тухлая вода, оставлявшая во рту ощущение слизи, а не влаги. А если бы датский капитан просчитался в Копенгагене на парочку бочонков, и его, Василия Баранщикова, вместе с шестеркой товарищей по трюму поволокли бы ночью к борту, столкнули в море, и он сам следил бы гаснущим взором за исчезающими парусами, за кормовым огоньком из капитанской каюты? И черная вода матово светилась бы под луной... А потом рассек бы волну треугольный акулий плавник...

Вдруг усталый часовой встрепенулся, мгновенно отрезвев от дремы: что-то зашуршало в кустах сада. В следующий миг две темные тени мелькнули почти рядом с Василием, проскользнули через дорожку, по которой только что вышагивал часовой Баранщиков.

Караульщик привскочил со скамьи. Кто это? Воры? Злоумышленники? Что ему делать? Стрелять? Вон, вон они, эти двое, еще раз промелькнули в отдалении под лунным лучом. Василий поднял ружье...

А может это... кто-нибудь из черных невольников пытается спастись бегством? Комендантский сад выходит одной стороной к морю, вернее, к нависающим над морем скалам. Внизу полоска колючего кустарника, дикого кампешевого дерева, потом — песок и море. Если перебраться через ограду, спуститься со скалы... Слева есть бревенчатый причальный пирс, нынче там привязана большая лодка с корабля «Песня ветра». На такой лодке можно добраться до другого острова... Может, таков именно план беглецов? Нет, не выстрелит по ним «часовой Мишель Николаефф!» Он даже положил ружье на скамью.

Несколько секунд Василий прислушивается, задерживая дыхание. Из далекого конца темной садовой аллеики, в чуткой тишине залитого луной сада еле уловимо доносится слабый металлический звон. Значит, беглецы в кандалах? Они перелезают через садовую ограду и звякают цепями! Может, это бежали узники с корабля «Песня ветра»?

Где-то в стороне слышался прерывистый собачий лай. Хриплый задыхающийся голос выкрикнул проклятие. Наверху, у знакомого здания гауптвахты, бухнул выстрел: на берегу ему эхом ответил второй. Нет сомнения: бежал кто-то из тех, кого высадили нынче с корабля «Песня ветра». Над островом понеслись звуки набата: ударили в колокола на церковной колокольне.

В ту же минуту со ступеней террасы сбежал в сад взволнованный майор. Он держал в руке пистолет. По ногам коменданта била длинная шпага. За ним высунулись из дверей еще чьи-то испуганные лица. В доме вскрикивали женщины. Важный испанский генерал, сияя расшитой грудью, вышел на террасу следом за хозяином. Кругом бежали, топали, кричали.

— Где часовой? — со злобой орал комендант, потрясая пистолетом и всматриваясь во тьму. — Огня! Часовой! Николаефф! Ду тойфель, ферфлюхте хундезде!

Удерживая на сворках здоровенных датских догов, к террасе подбежали вооруженные матросы. Один быстро доложил коменданту, что следы беглецов привели сюда, прямо в сад. И тут, в свете фонарей, майор заметил Баранщикова, с ружьем в руках, у скамейки.

— Где они пробежали по саду? Говори, негодяй, говори, русская собака: куда пробежали эти висельники?

Один из поводырей собак уже склонялся над присыпанной песком дорожкой. Псы яростно зарычали, порываясь вперед.

— Вот следы! — крикнул поводырь. — Они пробежали здесь!

— Они пробежали здесь! — завопил комендант. — Здесь? В полусотне шагов от часового? Негодяй! Почему не стрелял, собака! Почему не поднял тревогу! Люди! Взять у него ружье, арестовать, запереть у меня в каменном чулане! Когда схватим беглецов — я найду ему наказание. Вперед, к морю! Иначе те удерут на какой-нибудь лодке к испанцам или англичанам. Вперед, вперед! Ловите их, держите!

Баранщикова обезоружили, связали и бросили в темный чулан под надежный замок. Лишь наутро Василий узнал, что беглецам удалось овладеть лодкой

и покинуть бухту, но добрались ли они до другого острова или корабля, спаслись или погибли — то господи весть!

Во всяком случае, на острове погоня окончилась безрезультатно, и, когда Василия привели на допрос к коменданту, прямо в столовую, настроение майора было не из веселых. Здесь уже находились и английский капитан, и важный испанский генерал. Дамы, умиравшие от любопытства, не были допущены в комнату, но они тихонько наблюдали всю сцену с террасы сквозь тюлевую завесу.

Комендант смотрел на Баранщикова снизу вверх.

— Что ожидает солдата, который нарушил первый долг часового? — грозно спросил комендант. — Ты не мог не видеть и не слышать беглецов. Значит, ты помог им?

Василий счел за благо притвориться непонятливым.

— Не разумею, ваше благородие. Нихт ферштейн! Беглых — никс видел. Никс слышал. Далеке они были. Темно.

Комендант поморщился.

— Он отпирается? Притворяется, что ничего не видел? Так?

— Так точно, ваша милость! — подтвердил капрал, который привел Василия на допрос.

— Мне ясно, что он помог беглецам скрыться. Он не стрелял и дал возможность им удрать. Может быть, еще дорогу им показал? Во всяком случае, он недостоин звания датского солдата. Он заслуживает каторги, не так ли, ваше превосходительство?

Испанский генерал еще выше поднял нос и надменно кивнул.

— Капрал, уведите его на гауптвахту и... вы понимаете меня, гм, хорошенько там его... Вон!

Когда Баранщикова увели на истязание, красивая генеральша подошла к мужу.

— Скажите мне, друг мой, какое наказание ждет этого большого солдата? У него такие печальные глаза. Его повесят?

— Нет, наверное, не повесят, но... полсотни розог он испробует, а потом — каторга, моя дорогая. Его продадут, чтобы возместить затраты по вербовке. Может быть, галеры... Или рудники...

— Супруг мой, угодно ли вам исполнить одну просьбу вашей жены?

— Разумеется, моя дорогая. Все, что в моих силах!

— Купите этого солдата, сеньор! Мне, право, жаль его. Он так ревностно вышагивал целый вечер, все дамы любовались этим часовым. Мы устроим ему... кухонную каторгу в нашем доме, сеньор! Купите его, этого большого руса!

— Но, моя дорогая, кухонная каторга в вашем доме... боюсь, это не то наказание, которое желал бы для провинившегося наш любезный хозяин!

— Если моему супругу и повелителю будет угодно, то и кухонная каторга, как всякая другая, не будет особенно сладкой, пока... вина его не искупится.

— Но, говоря серьезно, дорогая Мария, за такого силача этот датский комендант заломит цену... гм...

— Сеньор! Не скупитесь! Просьба вашей супруги...

— Молчи, плутовка! Ты знаешь, что против такой улыбки я бессилен. Господин майор! Извольте назначить цену за этого москвитя. Я решил купить его.

Обрадованный майор все же счел своим долгом предостеречь соседа, что солдат Николаефф и сам склонен к побегу и ненадежен как надзиратель.

— Мне нужен кухонный слуга для тяжелых работ в доме. Насчет побега — не тревожьтесь, от нас не убегают! Благоволите назначить цену, сеньор комендант.

— Полагаю, ваше превосходительство, что он будет счастлив столь благоприятной судьбе и станет... трудиться за двоих. Угодно ли вам, ваше превосходительство, уступить мне за этого великолепного москвитя... парочку широкоплечих негров из ваших нынешних гребцов. Я любовался ими! Нам здесь нужны черные руки, ваше превосходительство, очень нужны. И, хотя цены на негров в настоящее время как будто падают... Ведь их стали теперь возить не только англичане, но и американцы... хэ-хэ-хэ, я бы, из желания угодить вашему превосходительству и в то же время не упустить из виду интересов нашей компании, счел бы такой обмен справедливым для обеих сторон, не так ли?

— Испанский дворянин не торгуется с соседом, когда речь идет об исполнении прихоти дамы, сень-

ор! — важно сказал коррехидор Пуэрто-Рико, обрадованный, что не нужно платить наличными за нового слугу. У его превосходительства спеси было больше, чем наличного золота в атласных карманах!

ПУЭРТО-РИКО

Опять корабль, ветер в парусах, шлепающие удары волны в корабельную грудь. С борта генеральской яхты Василий Баранщиков наблюдал за выходом в море «Песни ветра». Оба корабля одновременно покидали бухту Святого Фомы. Яхта пошла к острову Пуэрто-Рико, «Песня ветра» некоторое время держалась на параллельном курсе.

Привычным, уже опытным матросским глазом глядел Василий Баранщиков на ее стройные мачты, упруго несущие белую громаду парусов — грота, марселей, брамселей, триселей и кливеров; прикидывая в уме соотношение парусов и ширины судна, он дивился непривычной быстроте хода английского корабля, будто летевшего по волне. «Песня ветра» была новейшей постройки, но в этом изящном, стройном судне угадывалось что-то зловещее. Чудилось даже, что ветром доносит с него запах человеческих тел, пота, мочи, пропитавший самое дерево бортов...

Отсальютовав яхте, «Песня ветра» переменила курс, и вскоре белое пятнышко ее парусов исчезло за горизонтом.

Новый владелец «Мишеля Николаева», испанский генерал и губернатор острова Пуэрто-Рико, торопился домой. Яхта шла на всех парусах. Генерал знал толк в мореходстве и видел, с какой ловкостью управляется с парусами новый матрос.

— В море он был бы нужнее, чем на кухне у сеньоры! — подумал генерал и вспомнил о предостережении датского майора. — Чтобы из головы этого сильного москвиты изгнать всякую мысль о побегах, придется дону Мануэлю принять меры сразу по приезде, а то... ищи потом ветра в поле. Рабов, черных или белых, равно как и рабочий скот, принято клеймить. Гм! Заклеймить такого молодца?.. Что ж, за него от-

дано два негра, а это около ста британских фунтов стерлингов, и он нужен для хозяйства...

Путь, который другие корабли проделывали за трое суток, легкая генеральская яхта оставила за собой в два дня и одну ночь. Перед наступлением второй ночи с корабля стали видны вершины высоких гор острова Пуэрто-Рико. Ранним утром яхта бросила якорь в бухте города Сан-Хуан — губернаторской резиденции.

Прибытие генеральской яхты было встречено пушечным салютом. Белый катер с красной полоской по ватерлинии и двенадцатью гребцами птицей полетел к яхте, четко развернулся перед трапом, быстро пришвартовался, и на палубу поспешно взбежал испанский офицер в треуголке. Он отсалютовал шпагой генералу и галантно раскланялся перед его супругой.

Уже сходя по трапу на катер, генерал вполголоса сказал офицеру, указывая на нового матроса, который в тот миг крепил цепь на кнехтах:

— Дон Мануэль, возьмите-ка этого молодца на ночь в кордегардию, пока он без клейм. Ему надо отбить охоту к новым морским путешествиям, понимаете? Два дня назад, у датчан, он помог скрыться каким-то беглецам. Позаботьтесь, сеньор, чтобы все было сделано быстрее. Потом ему найдется работа в моем доме.

Катер отвалил. В ожидании, пока решится его судьба, Василий Баранчиков рассматривал с палубы город и порт. Ему пояснили, что Пуэрто-Рико по-испански значит «богатый порт». И впрямь, здесь все крупнее, богаче, разнообразнее, чем на датском острове.

Уже не уютный городок Святого Фомы, а большой, существующий почти три столетия город — Сан-Хуан ди Пуэрто-Рико. Не маленький форт, а внушительная крепость царит здесь над берегом. Вместо одной лютеранской кирки здесь вздымаются колокольни нескольких церквей и католического собора. Горы уходят вершинами в тучи. Полоса взморья, обшитая кружевом пены, простирается на десятки верст. А за этой полосой тянутся плоские предгорья с огромными плантациями сахарного тростника, кофе, табака, пряностей. Здесь тоже ощущается в воздухе густой и терпкий запах диковинных растений. Он манит пут-

ника своей новизной, но Василию Баранщикову он уже в тягость. Ему милее дымок от березовых дровец, холодное дыхание зимней Волги поутру и теплый дух печеного хлеба, чуть слежавшегося сенца... Россия! Нет ничего дороже и милее! Никакие пальмы, ничье небо, самое голубое и ласковое, не заменят тебя русскому сердцу!

После ночи в камере гарнизонной кордегардии Баранщиков был выведен доном Мануэлем на утренний свет божий и зажмурился от яркого солнца. Казалось, оно раскаляло добела все вокруг — площадь, изгороди, стены, крыши. Указывая дорогу москвиту, дон Мануэль только подбородком вскинул, не удостоивши Василия даже словом.

Идти пришлось недалеко, в губернаторскую канцелярию, которая занимала красивое здание с колоннами и закрытым, в испанском вкусе, — перенятом, впрочем, у мавров, — двором-патио.

Здесь, в здании канцелярии, их уже поджидал писец, еще какое-то духовное лицо в монашеской сутане и трое весьма угрюмых людей, одетых в черное. Писец и монах держали под мышками по тяжелой книге.

В глубине закрытого двора, под особым навесом, Баранщиков заметил жаровню с потухшими углями, похожую на те горны, которыми в России пользуются кузнецы на ярмарках и базарах. Небольшие кожаные мехи для раздувания угля свисали с потолка. Под тем же навесом лежали на полке какие-то обручи, зажимы, печатки, железные дощечки, утыканые иглами. Одного взгляда на эту «кузницу» было достаточно, чтобы понять ее назначение при губернаторской канцелярии.

— Пытать привели! А я-то, дурак, подумал было, что барыня гишпанская меня к добру из солдатчины выручила. Ан, вон оно как обращается!

Писец и монах разложили на столике свои книги. Один из черных палачей грубо дернул Василия за рукав. Баранщиков, не поняв, чего от него хотели, рванулся и толкнул черного. Щуплый дон Мануэль втянул голову в плечи и пронзительно заорал. Ему показалось, что пленник намерен бежать.

— Держите его, держите! — истошно визжал офицер.

Три палача и даже писец набросились на москочита. Вмиг они оборвали рукав рубахи, обнажив мускулистую руку, покрытую загаром. Палач дернул руку к себе, Василий споткнулся и упал на колени. Вскочить ему уже не дали: в этой позе его и привязали к столбу, а левую руку притянули ремнем к поперечному брусу.

— Сначала клеймом пресвятой девы! — проговорил монах.

— Вы видите, это строптивый русский, он должен носить много клейм, таково желание его превосходительства.

Писец поискал на полке нужную печать. Выбрав ее, он опустил кончики игл, торчащих из дощечки, в банку с измельченным и намоченным порохом. Один из палачей дополнительно втер тот же состав в кожу Василию и приложил клеймо к плечу. Старший с силой ударил по клейму молотком. Иглы вонзились в тело все разом, несколько десятков, причиняя острую боль. Из-под клейма обильно потекла кровь, но палачи все держали иглы в ране, чтобы красящий состав лучше прошел под кожу.

Василию Баранщикову пришлось вытерпеть эту операцию девять раз. Девять клейм поставили ему на плече, предплечье и на кисти руки. Много лет спустя, повествуя о своих «несчастных приключениях» на чужбине, Василий так перечислял эти девять клейм:

«Заклеймили в присутственном месте на левой руке: 1) Святою Марией, в правой руке держащею розу, а в левой тюльпан. 2) Кораблем с опущенным якорем в воду. 3) Сияющим солнцем. 4) Северною звездою. 5) Полумесцем. 6) Четырьмя маленькими северными звездами. 7) А на кисти той руки — осьмиугольником. 8) Клеймом, означающим 1783 год [между тем как клеймение происходило осенью 1781 года.— Р. Ш.]. 9) Буквами М. Н. [Мишель Николаев]. От сего бывает весьма чувствительная боль, кровь течет, и сутки трое рука несносно болит и смыть ничем невозможно»*.

* «Несчастные приключения», изд. III, 1793, стр. 19—20.

Рука так опухла, что и разорванный рукав натянули на нее с трудом. Писец переписал все клейма в свою книгу, монах — в свою. Дон Мануэль приказал писцу отвести заклеяменного раба на двор к его превосходительству сеньору коррехидору.

Сам дон Мануэль отправился туда же верхом доложить о неукоснительном исполнении всех вчерашних генеральских распоряжений. Он уже сидел на «пьянце» — открытой террасе, в обществе красивой супруги коррехидора, когда канцелярский писарь привел на задний двор гасиенды бледного, покрытого испариной Василия Баранщикова.

Ему было очень худо. К измученному москвиту приблизился повар, сутулый негр в фартуке. Быстро осмотрев руку, он покачал головой и отступил, прищелкивая языком. Негру хотелось оказать больному помощь, и он умел это сделать, он знал, как успокоить боль и предотвратить тяжкое воспаление. Но он не решался помочь, ибо новый раб был белым и мог оскорбиться прикосновением к нему черной руки целителя...

Василий, прочитав сочувствие во взгляде незнакомого черного человека в фартуке, со стоном шагнул к нему, оперся здоровой рукой на подставленное плечо и полуобнял негра. Сгибаясь под этой тяжестью, негр повел больного в каморку. Уложив его на связку из банановых и пальмовых листьев, служившую постелью, черный лекарь смочил раны целебным бальзамом, который европейцы называли «копайским». По старинному индейскому рецепту негры научились отлично изготавливать его из сока копаловых деревьев, растущих на всех вест-индских островах. Пожав руку целителя, Василий впал в тяжелый сон, с лихорадочным ознобом...

Так началась его жизнь «кухонного мужика» у знатного испанского гасиендадо и сановника, губернатора «колонии гишпанской Порто-Рики».

Прошло немало времени, пока к Василию Баранщикову вернулась его несокрушимая жизнерадостность. В его смятенной, оскорбленной душе медленно, как выбившаяся из растоптанного семени

травинка, вновь окрепла вера в свои силы, надежда на спасение.

Надев легкую рубаху из хлопковой материи, полотняные штаны и широкополую соломенную шляпу, он на рассвете бежал к морю умыться: хозяева не позволяли слугам пользоваться пресной водой для умывания. Ее добывали из глубоких скважин или собирали во время дождей. Многие пресные источники высохли на острове, после того как во всех его долинах и низинах были истреблены когда-то богатейшие леса.

Искупавшись в море, Василий брал топор с длинной рукоятью, к которой долго не мог привыкнуть, и принимался рубить подсушенные, твердые, как кость, тела пальм. Их привозили сюда на мулах рабочие-негры из предгорий, за много миль от дома. Покончив с дровами, Василий брался за чистку огромных медных чанов, котлов и кастрюль. Он доводил их до нестерпимого блеска, точно готовил посуду для корабельного камбуза.

Затем, взяв на плечо коромысло собственного изготовления, Василий вешал на концы его по трехведерной кожаной посудине и отправлялся к каменному бассейну за пресной водой для кухни и домашних надобностей. На удивление всему двору он наполнял все домашние водоемы за два часа; другой водонос тратил на эту работу целый день.

Заканчивался трудовой день на том же заднем дворе. В холодке Василий рубил и разделывал мясо, выжимал на прессе соки из разных фруктов для прохладительных напитков. Перед тем как улечься спать, он выносил золу и закладывал в еще теплый очаг дрова на завтрашний день, чтобы за ночь они лучше просохли.

Меньше всего помышлял Василий о господской пользе. Он и дома сызмальства не любил сидеть сложа руки, а здесь не давал себе отдыха, чтобы в непрерывном труде отвлечься от мрачных раздумий. «Работать — день коротать!» — про себя повторял Баранчиков.

Так сочилась по капелькам-дням жизнь белого раба. К молчаливому «большому русу» домашние слуги быстро привыкли. Жестами, улыбками, похлопы-

ванием по плечу они выражали ему свое сочувствие и расположение. Столь открытое проявление товарищеского доброжелательства помогло Василию зажить душевную рану, перетерпеть жестокое унижение. Перестала саднить и больная рука, и даже к ее уродливому виду начал привыкать Василий Баранщиков. Рассматривая затейливые, серо-голубые рисунки на своей коже, он печально и насмешливо улыбался про себя:

— Ишь, изукрасили, господа гишпанцы! Бог попускает — и свинья гуся съедает! Поглядела бы Марьюшка на супруга в неволюшке!

Вернулась к нему и природная любознательность. Через полгода жизни в генеральском доме нижегородца еще раз победил свою немоту — сносно заговорил по-испански. Язык ему очень нравился, больше немецкого или английского.

Нередко его посылали на плантации, если там случались неотложные работы, требующие особого умения. На кофейной плантации он видел, как собирают урожай с маленьких кофейных деревьев. Под деревцами расстилали старые чиненные паруса, деревца трясли, и тяжелые маслянистые зерна падали на холст. Их сушили прямо на солнце. Теплые ветры пассаты, дувшие здесь в январе — марте, помогали провеивать зерна: их подбрасывали лопатами вверх, ветер уносил легкую кожуру. Так в России веяли рожь.

Очень забавляли Баранщикова обезьянки, в изобилии водившиеся на острове. Домашние были обучены всевозможным забавным фокусам, а дикие «помогали» сбору кокосовых орехов: негры дразнили зверьков, а те, в отместку, швыряли с высоты пальмы увесистые плоды.

На сахарных плантациях Василию однажды случилось исправить повреждение механического пресса, или «жома». С тех пор москвиту часто поручали чинить различные механизмы, неуклюжие, громоздкие и тяжелые, — мельничные жернова, насосы, деревянные прессы. При этом Василий присматривался к работе негров, более тяжелой, чем его собственная. Негры резали тростник (а часто прямо вырывали его голыми руками), вязали в пучки и несли эти пучки

под прессы. Здесь выжимали сахаристый сок в глиняные сосуды, варили, собирали его в медных котлах, выпаривали на солнце и получали сахарный песок, а из оставшейся патоки, или мелассы делали знаменитый вест-индский ром.

В порту Сан-Хуана Василий видел корабли из многих стран: они приходили сюда за сахаром и ромом. Баранщиков знал, что владельцы сахарных плантаций считаются самыми богатыми людьми в мире. Эти богатства созданы руками рабов. Здесь, на Пуэрто-Рико, Василий услышал впервые страшное словечко «асиенто». Так называлось право англичан поставлять рабов во все испанские колонии. Это право недавно потеряло свою юридическую силу, но традиция осталась — работорговля преимущественно считалась английским ремеслом. Правда, в последнее время с англичанами начали успешно конкурировать американские купцы. Они скупают у плантаторов ром и сахар, продают их в Европе или Африке, из Африки везут негров, и, таким образом, «сладкая продукция» не только приносит неслыханный барыш, но и творит чудо: негры превращаются в ром, а ром — снова превращается в негров, обогащая и купца и плантатора!

В порт Сан-Хуана Василия не пускали без надзора. Его предупредили, что при попытке к бегству он будет отправлен либо на свинцовый рудник, либо на соляные промыслы, где работали «на износ» наказанные рабы и прочие смертники.

Баранщиков знал понаслышке, что работали там и «мийтосы» — южноамериканские индейцы племен майя, кечуа, аймара и других, — несшие для испанцев тяжкую трудовую повинность — «миту». Она заключалась в том, что индейские племена должны были выделять большие группы сильных молодых людей для испанских рудников и плантаций, на постройку зданий, на прокладку дорог. «Мийтосы», как правило, погибали от лишений, вдали от родины, и почти никто из них не возвращался. Поэтому при отправке молодых людей на «миту» родные и близкие прощались с уезжающим, как на похоронах. Именно против «миты» и поднял восстание индейский вождь Тупак Амару Второй, но даже упомянуть вслух это имя — значило подвергнуть себя участи «мийтосов». В доме

коррехидора слуги бледнели при одном слове «рудник».

Василий Бараншиков дал зарок — не пить, чтобы никогда в жизни не дать вину власти над собой. И хотя дворецкий Себастиан частенько предлагал москвиту пропустить чарочку — тот упорно отказывался. Нередко случалось ему ловить на улице многообещающие взгляды хорошеньких жительниц предместья, но эти здешние красавицы казались Василию такими же чужими и «ненастоящими», как местная экзотическая природа.

Так протекли целых полтора года. Снова наступал сезон дождей, когда тяжелые тучи заволакивали вершину Сьерры-де-Лукилло и по несколько раз в день принимался идти крупный южный дождь. С утомительным однообразием он стучал по крышам строений и тугим пальмовым листьям в саду и надолго прогонял скучающих испанских дам с открытых террас, садовых лужаек и площадок для игр.

Но в самом начале дождливой поры выдалось однажды на редкость ясное погожее утро. Оно застало Василия в предгорьях. С топором на плече шагал он к дальней лесосеке у подножия гор: в доме, на беду, запас дров кончался, и дворецкий послал Василия на помощь неграм, рубившим деревья на склонах горных отрогов.

На этот раз и сама хозяйка, большая любительница верховой езды и дальних прогулок, воспользовалась хорошей погодой и лично отправилась верхом в предгорья, взяв с собой двух конных провожатых. На лесосеке она врасплох застала негров-лесорубов спящими в шалаше. Сеньора была не злая женщина: она обещала ничего не говорить генералу о таком проступке, если хороший воз сухих пальмовых дров для каминов будет к вечеру доставлен домой. Ведь сеньор-коррехидор уже не молод, и холодными вечерами ему необходимо погреться у жарко пылающего камелька!

Негры взялись за топоры, а сеньора-губернаторша, оставив провожатых присмотреть за ленивыми лесорубами, одна поехала назад. Она благополучно миновала все трудные спуски на отрогах гор и внизу пустила коня в галоп по тропинке. Путь ее лежал между густыми зарослями колючего кустарника.



Здесь лошадь сеньоры испугалась огромной черепахи, выбравшейся погреться на солнышко. Лошадь шарахнулась в кустарник, осела на задние ноги, и тысячи колючек вонзились ей в круп и брюхо. Животное рванулось, сбросило всадницу и понеслось по тропе.

Навстречу ей шагал Василий Баранчиков. Он первым заметил знакомую лошадь под дамским седлом, без наездницы. Василий подставил плечо несущейся вдоль изгороди лошади, больно ушибся, но поймал поводья и остановил коня, дрожащего и покрытого пеной. Держа лошадь в поводу, он пошел по следам и вскоре увидел сеньору, сидящую на земле. Он осторожно поднял ее на руки, испуганную, ошеломленную падением, в изорванной амазонке и с ушибленной ногой. Сесть в седло она не могла.

До дома было далеко, кругом — безлюдная местность, а погода успела испортиться. С гор сползла туча, и скоро полил дождь, превратившийся в тропический ливень с грозой. Заметив невдалеке корраль для скота, а за его изгородью — пастушескую хижину, Василий внес туда неудачливую наездницу, устроил ее поудобнее на ложе из сухих трав и хотел вернуться к лошади, но оглушительный удар грома совсем перепугал сеньору. Лошадь сорвалась с привязи и усакала, а женщина в страхе прижалась к своему спутнику.

Несколько часов, пока не утих ливень, провели они в пастушьей хижине. Василий сумел развести огонь и подсушил мокрый наряд сеньоры. Когда стемнело, тысячи летучих мышей закружились над одинокой хижинкой. Сеньору пугал бесшумный полет этих ночных существ, трепет их серых крыльев, мелькание в отсвете костра маленьких ушастых головок. Невольно ей пришли на память страшные легенды о здешних летучих мышах-вампирах, высасывающих кровь у мулов, коров и даже людей. Слуги говорили: мыши-вампиры проделывают без боли очень маленькую ранку и высасывают столько крови, что человек или животное может заболеть и даже погибнуть.

Разумеется, сеньора ни за что не соглашалась остаться здесь в одиночестве, пока Василий сходит за людьми или экипажем. Поэтому пришлось ему донести хозяйку до города. Они вернулись, когда на генеральской вилле уже снаряжалась целая экспедиция для розысков хозяйки дома. Через несколько дней после этого происшествия пожилая сеньора Матильда, дуэнья и наперсница донны Марии, поверенная всех ее секретов, осторожно вручила невольнику-москвиту ключик от потайной двери одного укромного покоя в доме, уединенного и очаровательного...

Василию пришлось с тех пор сопровождать хозяйку на долгих прогулках. Все чаще повторялись и тайные встречи в доме. Человек не болтливый и скромный, Баранчиков никому не выдал тайны, но дуэнья сеньоры решила, что ее молчание госпожа оплачивает недостаточно щедро! Сеньора Матильда возмечтала превратить чужой секрет в источник столь большого дохода, что донна Мария вскоре оказалась не в силах

выполнять стремительно растущих требований. И тогда осталось одно — расставание! Нужно было отправить москвитя из дому, отпустить его на волю.

Сначала генерал и слышать не хотел о свободе для руса, но сеньора мягко и властно добилась своего: Василию был выдан форменный паспорт на имя москвитянина Мишеля Николаева, а донна Мария из личных средств снабдила отпущенного невольника небольшой денежной суммой. Разумеется, такое внимание к простому рабу, каких у генеральши было несколько сотен, не может объясняться лишь неожиданно появившимся у сеньоры сочувствием к семье москвитя. В своей книжке «Нешастные приключения» Баранщиков именно так поясняет новый счастливый поворот судьбы. Но тайну выдает само исключительное участие сеньоры в освобождении клейменого раба, стоившего генералу около тысячи рублей золотом на русский счет, — такова была в Вест-Индии цена двух сильных негров.

И вот Василий Баранщиков — снова вольный человек, в хорошей одежде, с испанским паспортом и испанским золотом в кармане. Прощальный взгляд изпод длинных ресниц провожает его в дальнюю дорогу. За этот взгляд не один знатный сеньор скрестил бы шпагу со своим соперником!

Впервые Василий без опаски и без помех спускается в порт Сан-Хуан. У набережной стоит генуэзская бригантина. Через несколько суток она отваливает — так сказали Василию матросы. Ура! Капитан-генуэзец не прочь взять Мишеля Николаева матросом верхней команды. Вознаграждение скромное, но вместе с золотом сеньоры Марии его хватит, чтобы добраться от Генуи хотя бы до границы российской на Днепре или Двине либо до селений казаков донских в южных степях. А там, дома, как говорится, и стены помогают! Не пропадет на Руси купец нижегородский!

Наступил час отплытия. Василий стоял на вахте вместе с молодым венецианцем, матросом Антонио Ферреро, с которым успел подружиться. Звезды загорались над океаном, прибой бесновался и кипел у скалистых мысов острова Пуэрто-Рико, обрушивая свой гнев на каменные твердыни.

Вглядываясь в очертания Сан-Хуана, в тысячи мерцающих огоньков города, Василий, как ни старался, не мог найти одно окошко, откуда следили сейчас за кораблем погрузневшие глаза. Взгляд их долго не отрывался от темнеющего, нефритового моря, пока не перестал различать между зеленоватыми звездами желтый светлячок топ-огня на мачте генуэзского парусника...

ВНОВЬ ОБРАЩЕННЫЕ

Над генуэзским кораблем медленно отгорали необыкновенные, шелками шитые морские зори, сгущались и расходились тучи; когда багровый шар показывался из-за синих волн океана, судно бежало ему навстречу, и тени парусов закрывали корму. Вечером огненное светило тонуло за кормою в пылающем океане, и закатные тени лежали на баке — носовой палубе. Все шло хорошо. Наступление нового 1784 года экипаж отпраздновал уже близ африканских берегов, недалеко от Геркулесовых, или «Мелькартовых» столпов, как в старину моряки называли каменные врата к Средиземному морю — Гибралтарский пролив. И именно здесь, на пороге Европы, его поджидало несчастье!

Однажды на рассвете капитан заметил судно, которое летело наперерез курсу итальянского корабля. В подзорную трубу виден был облегченный рангоут и скошенные паруса. Флага нельзя было различить, но у капитана уже зародились недобрые предчувствия. Он знал, что вест-индские товары в его трюме — самая завидная добыча для пиратов: сахар, пряности, ром, табак, выделанные кожи. Знал капитан и про лихих турецко-алжирских пиратов, главарю которых, алжирскому бею, многие государства Европы, например Швеция и Дания, Королевство обеих Сицилий, некоторые вольные города Ганзейского союза, платили дань, за что получали от бея особый паспорт. Он служил защитой при встрече с турецко-алжирскими морскими разбойниками.

Такого паспорта генуэзская бригантина не имела. Капитан ее надеялся, что ему просто удастся избе-

жать встречи с корсарами, наводившими ужас на все Средиземное море. Захваченные пиратами суда и грузы шли на продажу, а экипажи и пассажиры безо всякого снисхождения продавались в рабство. За иных турки брали богатый выкуп, за остальных — выручали немалые деньги на невольничьих рынках. Генуэзскому капитану случалось видеть эти рынки в Стамбуле, Смирне, Алжире и во многих других портовых и приморских городах.

Чужое судно постепенно приближалось. Уже можно было распознать в нем большую турецкую галеру, шедшую под всеми парусами при убранных веслах. Капитан бригантины, чтобы уклониться от опасной встречи, положил руля на четыре румба вправо, под крутой бейдевинд. Расстояние между кораблями начало расти.

Будь ветер попутным — бригантина и с полными трюмами ушла бы от пиратов, но, видимо, турецкий моряк знал толк в здешней погоде! Отставая все больше от итальянцев, турки упорно продолжали преследование, видимо рассчитывая на благоприятную для них перемену ветра. И действительно, к полудню, когда далеко отставшая галера лишь чуть заметным пятнышком темнела на западе, ветер утих совершенно. Наступил полный штиль, паруса итальянской бригантины беспомощно повисли на реях, словно крылья смертельно раненной птицы.

Весь экипаж — капитан, боцман, матросы и корабельный кок, всего восемнадцать человек, — столпился на палубе. Чуть заметно зыбился океан. Длинные плавные валы этой мертвой зыби слегка покачивали корабль, равномерно и монотонно всплескивая и журча за кормой, у руля. Казалось, будто судно все же движется и уходит от грозной опасности... Увы! Стоило взглянуть на сникшие паруса — и надежда на спасение гасла.

Между тем на турецкой галере гребцы по команде опустили весла на воду. Вскоре удары многих пар этих тяжелых весел стали слышны людям на бригантине. Донеслись выкрики на чужом языке. Вот галера уже в одном кабельтове от генуэзского парусника. Видны сизые дымки на борту... Это курятся фитили у турецких канониров. Василий насчитал у противника одну...

две... три легкие пушки... Вот поднялся из воды весь ряд весел с одной стороны. Поворот! На носу, на корме, на палубе толпятся бритоголовые, усатые люди в фесках и чалмах. Сверкает на ясном послеполуденном солнце турецкое оружие — клинки, пистолеты, ружейные стволы...

А на генуэзском корабле — все будто оцепенели. На борту бригантины не было пушки, команда не имела никакого огнестрельного оружия. Ничего не предусмотрели хозяева судна — даже священника или хотя бы завалящего монаха-капеллана не имелось, чтобы по всем правилам помолиться о даровании попутного ветра при встрече с опасным врагом! Молитву перед едой обычно читал в пути сам капитан, перемежая «божественные» слова с морскими ругательствами, чем неизменно вызывал оглушительный хохот команды. А нынче и капитан забыл, видно, о небесных силах: с побелевшим лицом, держа в руке ненужную уже подзорную трубу, вглядывается он простым глазом в очертания неприятельской галеры и чувствует себя кроликом, глядящим в разинутую пасть удава.

Только младший матрос, Антонио Ферреро, не поддался тупому отчаянию. В черных глазах венецианца, который был еще так молод, что в прошлом рейсе шел юнгой, Баранщиков заметил выражение непримиримой ненависти. Правую руку Антонио прижимал к поясу. Глядя на юношу, и нижегородец стянул с себя гнетущее оцепенение и встрепенулся.

— Что ж, неужели так и помрем под ятаганами, словно скотина безответная? — пробормотал Баранщиков по-русски, обращаясь не то к товарищам, не то к самому себе. Кое-кто из матросов обернулся на звук его голоса. Василий машинально опустил руку к правому колену... Увы! Нет на нем добротных российских сапог с яловыми голенищами, где чуть не с мальчишеских лет покоился булатный тесачок, а носить складной морской ножик за пазухой он так и не приучился. Поздно спохватился теперь!

В ту же минуту тень вражеских парусов заслонила солнце. Раздался глухой треск. Деревянные борты сшиблись, бригантину сильно качнуло... и замелькали через фальшборт чужие, ожесточенные лица. Многие разбойники зажимали кривые клинки в зубах, а в ру-

как держали пистолеты. Прогремело несколько выстрелов.

Все кончилось в считанные минуты. Турки, не встретив сопротивления, быстро овладели кораблем и заполнили всю палубу. Даже запах сразу сделался другим, непривычным: тут и острая вонь разгоряченных тел, и чеснок, и кофе, и резкая струйка гари от пеньковых фитилей, и пороховой дым... В глазах Василия так и мельтешили чужие коричневые лица, острые бородки, руки с ятаганами, шаровары, сапожки с загнутыми вверх носками. Вот с металлическим грохотом полетели на палубу, у самого борта, странные боевые топорики на длинных шестах. Там, где у простого топора — обушок, у этих, у турецких, — острый крюк. Догадался Василий, что это специальное оружие морских разбойников: топором — вражеский борт рубить, крюком — галеру к его борту подтягивать при abordage. Нынче они не понадобились — их просто отшвырнули на палубу.

Василий видел, как два турка повели куда-то генуэзского капитана, видел, как с галеры на бригантину, звякнув, перелетели железные цепи, кандалы и оковы, как на палубе одному за другим турки вязали руки матросам-итальянцам. Пиратов было вдвое больше, чем пленников, и уже схватили сзади за локти самого Василия Баранщикова, как вдруг один из врагов, дико взыв, зажал ладонью раненый бок. Это венецианец Антонио Ферреро изловчился-таки пырнуть ножом самого рослого турчина. В тот же миг ударил турецкий пистолет, и молодого венецианца поволокли к трюму. На палубном настиле остался багровый след — кровь сочилась из простреленного плеча Антонио, но он извивался, пытаясь вырваться, и выкрикивал проклятия, суля туркам гибель от венецианских боевых судов. В тот год Венецианская республика успешно воевала на море с османской Портой, хотя и ослабела бывая мощь богатой республики.

Рвануться на помощь товарищу Баранщиков не успел: сильный удар по голове сбил нижегородца с ног. Двое турок уселись на нем верхом, и кузнец быстро заклепал на ногах тяжелые железные кандалы. Потом и Василия сволокли в трюм.

Больше суток пролежали в темном трюме турецкие пленники, без пищи, без воды. Перед наступлением следующей ночи, когда пленники так обессилели, что еле-еле могли держаться на ногах, всех вывели на палубу. Осмотр произвел сам пиратский капитан, немолодой полнотелый турок с одутловатым лицом и крашеной бородкой — Али-Магомет-ага. Его белую чалму украшал необыкновенно крупный изумруд редкостного ярко-зеленого оттенка. За широким поясом золотого шитья торчали пистолеты и кинжал с такой дорогой рукоятью, что, вероятно, она одна стоила всего остального оружия пиратской шайки. Капитан определял участь пленника: кому быть гребцом на галере, кому идти на продажу в турецкие или иные владения, кому — в хозяйство самого Али-Магомета.

Не торопясь, соблюдая важность вельможи-османа, Али-Магомет-ага прошелся вдоль шеренги обессиленных людей, связанных или скованных, не успевших еще привыкнуть к солнечному свету после темноты корабельного трюма. Капитан сразу обратил внимание на голубоглазого пленника, который был на полголовы выше остальных и пошире в плечах. Растрепанная русая бородка, которую Василий отрастил после датской солдатчины, резко выделяла его лицо среди безусых и безбородых итальянцев.

— Урус? — спросил Али-Магомет, обращаясь к пленному. Получив утвердительный ответ, довольный капитан ухмыльнулся, промурлыкал «якши!» и двинулся дальше вдоль шеренги.

Василий с трудом узнавал бригадину. Вместо привычного порядка, который соблюдался на корабле в течение всего рейса, Баранщиков видел теперь грязное и запущенное судно, беспорядочно разбросанные, порванные при abordage снасти, запекшуюся кровь на палубном настиле. Генуэзского капитана среди пленников не было — видимо, турки уже решили его судьбу: только богатый выкуп мог вызволить его теперь из турецкой неволи. А остальные пленники?

К Али-Магомету подошел его помощник, худой жилистый человек по имени Рюштю-бей. В руках у него пленники сразу заметили ременную плетъ на короткой рукояти из козьей ноги. Поигрывая этой плетью, он угрюмо уставился на пленников.

— Спроси гяуров, — повернулся Али-Магомет к Рюштю-бею как переводчику, — спроси их, имеются ли среди них здравомыслящие и разумные люди, готовые без принуждения, добровольно, принять ислам?

По шеренге прошло движение. Все глаза уставились в землю. Здравомыслящих явно не находилось!

— Объясни им, — недовольно продолжал Али-Магомет, — если свет истинного учения пророка озарит их сердца, то, может быть, милосердный Аллах простит им прежние заблуждения и позволит раскаявшимся вкушать блаженство небесного рая вместе с правовеерными. Пусть они знают, что ко всем вновь обращенным мы бываем мягкосердечны и милосердны, а упорствующим придется... долго жалеть о своем упрямстве!

Рюштю-бей перевел, но никто из пленников не поднял взгляда, не вымолвил ни слова. Али-Магомет еще более напустился — и указал рукой на раненого венецианца. Тот еле держался на ногах.

— Вот этот дерзкий юноша вчера насмерть ранил нашего любимого воина Селима. Спроси его, Рюштю-бей, желает ли он искупить вину вступлением в ряды правовеерных воителей ислама? Он мужественно сражался вчера, трусость чужда его сердцу. Под знаменем пророка он может стать достойным воином. Что он говорит в ответ на мои слова?

Двое стражников подхватили связанного пленника под руки, и Рюштю-бей приблизился к нему. Но он даже не успел закончить перевода, как произошло нечто неожиданное...

Связанный венецианец изогнулся, рванулся из рук стражников и головой ударил переводчика в живот.

— С врагами отечества моего я не торгуюсь, я их убиваю! — крикнул он.

Падая у борта вместе с Рюштю-беем, юноша пытался столкнуть переводчика к чугунным кнехтам, около которых не было перил: смельчак намеревался броситься в море вместе с одним из своих врагов!

Но замысел был непосилен для ослабевшего юноши. Турки оттащили Рюштю-бея в сторону, а венецианца притиснули к палубному настилу. Переводчик вскочил на ноги, хлестнул юношу плетью, а взбешен-



ный Али-Магомет только рукой махнул. Пираты беспощадно избили пленника, а затем швырнули истерзанное тело за борт. Несколько секунд еще можно было различить под водою коричневатое-белое пятно. Василию почудилось, что там еще пузырится розовая пена... Али-Магомет рассвирепел не на шутку.

— Всех — гребцами на галеру! — кричал Али-Магомет. — Покажи им, Рюштю-бей, как твои надсмотрщики умеют обращаться с бичами! Ведите их! Нет, стойте! Большого уруса и вот этих троих, что посильнее, оставьте на бригантине... Эй, принести сюда кол да заострить его получше! Остальных — ведите на галеру! Вели приковать их к веслам, Рюштю-бей. Двенадцать наших старых гребцов, чьи места займут эти нечестивцы, пусть перейдут сюда, на бригантину, матросами.

Матросов-итальянцев повели на галеру. Полуголые гребцы-галерщики перешли на борт бригантины и принялись разбирать снасти, не обращая никакого внимания на четырех невольников, оставленных Али-Магометом на палубе бригантины. Скованные, они стояли у стенки рубки, глядя вслед товарищам. Тех уже рассаживали в галерном трюме, к огромным веслам.

Али-Магомет, поигрывая рукоятью своего великолепного кинжала, заканчивал распоряжения.

— В Хайфу ты поведешь галеру, Рюштю-бей, а я — бригантину. Ты пойдешь в кильватере, чтобы прикрыть бригантину с кормы. Когда с помощью Аллаха мы достигнем залива Акки, я разделю добычу и новых невольников между воинами. А вот эти четверо будут сейчас же преданы казни на радость моим доблестным воителям, если они тут же, на месте, не примут истинную веру. Позвать сюда с галеры имама Рашида!

Вскоре к Али-Магомету подошел бочком, семенящей старческой походкой турецкий мулла. Его остроконечная борода отливала бронзой, лицо, покрытое морщинами, было хитрым и насмешливым.

— Привет тебе, Рашид-имам, да продлит Аллах твои дни на земле! А ты, мудрый Рюштю-бей, поясни мои слова проклятым гяурам. Если они через пять минут не приступят к обряду посвящения — участь их будет пострашнее того, что они видели сейчас. А, вот и кол! Отличный, острый, смазанный жиром кол! Вы его видите, гяурские псы? Вам загонят его в тело, если я услышу дерзновенное «нет». Начни с большого уруса, Рюштю-бей! Спроси его, желает ли он жить у меня в доме добрым мусульманином или медленно издохнуть на этом великолепном колу?

— Будь ты проклят, ирод! — в ужасе пробормотал Бараншиков, глядя на орудие чудовищной казни. — Господи всеблагий, прости раба твоего, зане слаб духом, чтобы в великомученики записываться. А коли жив буду — замолю невольный грех!

Али-Магомет от нетерпения даже ногою при-топнул.

— Ну, что, принимает он ислам или нет?

В смертельной тоске нижегородец обвел взглядом своих товарищей. Все три генуэзца глазами молили Василия покориться злой неизбежности. Один из итальянцев прошептал, чуть шевеля бледными губами:

— Покорись, Мишель. Не губи себя и нас. Скажи ему: да!

Выпрямившись во весь свой богатырский рост, Василий Бараншиков хмуро взглянул на рыжебородого имама и проговорил внятно:

— Мало нас, чтобы силе вашей противиться. На ваши головы — и грех. Делайте, что задумали, мы насупротив пойти не можем...

— Аллах-ху-экбэр! Аллах-ху-экбэр! — традиционный этот возглас магометанского муэдзина доносился на бригантину с галеры. Марсовая бочка служила там и минаретом...

Вечерний намаз в стороне от турецкой команды совершали и вновь обращенные мусульмане. Все четверо были наголо обриты и уже получили тюбетейки. Они стояли на коленках по-турецки, подстелив под ноги небольшие коврики-дастарханы.

Сознание греховности всего, что он дал проделать над собою, наполняло Василия Бараншикова жгучим чувством стыда, боли, обиды. Впрочем, для турок он был уже не Мишелем Николаевым. Теперь и он, и его товарищи итальянцы получили новые магометанские имена. В память турецкого воина, раненного храбрым Антонио и к ночи умершего от потери крови, Василий был наименован Селимом.

Рядом с «Селимом» стоял его новый духовный пастырь, мулла Рашид-имам. Он подсказывал неофиту слова мусульманской молитвы. Василий бормотал за ним:

— Ля иллях иль алла... Магомет пророк Аллы... Ля илляга, илляла...

Механически повторяя вслух малопонятные слова, Василий Баранщикова с огромным трудом удерживался, чтобы не осенить себя крестным знамением, привычным с младенчества, и про себя думал:

— Родный батюшка, родная матушка, царствие вам небесное, да будет вам пухом земля наша отеческая, российская. Братцы мои родные, жена моя честная, православная, верная! Гадал ли, думал ли когда ваш покорный сын и честный муж турчином соделаться? Держал ли в малом разуме своем грешную мысль от православной веры отступиться? Дай, господи, силы от злодеев утечь, грех свой невольный искупить и к Европиям Российским воротиться!

Да, легко сказать, утечь, воротиться. Кругом предвечернее море, синее, подобно драгоценному камню сапфиру. Безбрежное и огромное, как безоблачное небо. По-прежнему, будто ничего и не изменилось на злополучном корабле, освещает его с кормы закатное солнце, багрянит корабельные реи и паруса. Чуть поскрипывают мачты, чертя верхушками синеву небесного шелка. Две голубые бесконечности, море и небо, непостижимо отраженные одна в другой, баюкают, качают, влекут к заповедной, вечно ускользающей черте горизонта гемуэзскую бригадину. А на ее палубе пригорюнился пленный нижегородец, нареченный Селимом. Думает он свою невеселую думу. Рука у него болит, распухла и саднит: Али-Магомет для верности повелел немедля заклеить Василия Баранщикова изображением солнца на правой руке — знаком принадлежности Селима к домашнему хозяйству самого капитана.

И струятся по щекам бритого, опозоренного человека горькие злые слезы обиды.

ИЗ ТУРЕЦКОЙ НЕВОЛИ

Зной. Неумолчный крик цикад, сверчков, древесных лягушек. Дорога, покрытая светлой пылью и лишенная тени, опалена южным солнцем, не знающим пощады. Колючие кустарники у дороги так запылились, что стали из зеленых серыми. И по этой знойной, каменистой

дороге бредет, озираясь, Василий Баранщиков, белый раб «эффенди реиса», то есть морского капитана Али-Магомета-аги.

Раб — в побеге! Не выдержав «печали об отечестве своем России, христианской вере, жене и малолетних детях, незабвенно в сердце его обращавшихся»*, он отважился на плохо подготовленный, необдуманный побег. Просто почувствовал, что за ним уже не так зорко следят, увидел открытые ворота пустого в тот миг двора, за воротами — пыльную дорогу к лесистым предгорьям. Увидел странников, бредущих куда-то по этой опаленной зноем дороге...

Василий кинулся в каморку, швырнул в дастархан несколько лепешек, запихал в тот же узелок свой гишпанский паспорт, припрятанный в подкладке халата, прихватил несколько серебряных монет и ложку. И вот он — за воротами.

Обгоняя других путников, он миновал древнюю стену города Хайфы, чуть задержался на перекрестке, выбрал дорогу поглуше, направлением на северо-запад, и снова зашагал. Так брел он целый день и всю ночь. У него не было никакого плана, как действовать дальше, не было и ни малейшего представления о дороге «домой». Он просто уходил от унижений, слепой тоски, от неволи в доме богатого и знатного турка. Шел поистине «куда глаза глядят», втайне надеясь на какой-нибудь счастливый случай, на «указующий перст божий». Надеялся он и на то, что турецкий капитан, или «реис», как говорят турки, не станет тратить средств и времени на розыски и поимку белого раба. Дескать, хватит с него и тех, что остались!

Ошибся Василий Баранщиков в своих наивных расчетах на «перст божий». Его уже разыскивали! Капитан Али-Магомет разослал конных и пеших гонцов, которые оповестили турецкую полицию, жителей окрестных селений, чайханщиков при дорогах.

И когда иссяк у Василия скудный продовольственный запас и он с робостью заглянул в первую же придорожную харчевню, ютившуюся рядом с грязным караван-сараям, оповещенные ищейки опознали его сразу...

* «Нешастные приключения», изд. III, 1793, стр. 28.

С хитрой улыбкой хозяин харчевни приглашает пройти в чуланчик за кухней. Здесь находятся какие-то люди в фесках. Перед Василием они униженно и церемонно кланяются, просят показать правую руку выше локтя. Ухмыляются при виде клейма с изображением солнца...

...По прошествии нескольких часов после опознания, во двор эффенди Али-Магомета въезжают двое всадников. У одного зажата в кулаке нагайка, у другого приторочена к седлу веревка, а к ней за кисти скрещенных рук привязан Василий Баранщиков, непокорный турецкий раб Селим. Ворота закрываются, Али-Магомет сам выходит на крыльцо, улыбается, оглаживает бороду. Сбегаются верные слуги и домочадцы капитана: сейчас начнется потеха, воротили беглеца-уруса! Вот он, пропыленный и потный, истомленный долгим пешим путем, стоит перед хозяином, глядит в землю и молчит.

— Почему ты задумал бежать от меня, Селим? — ласково и вкрадчиво спрашивает реис. — Разве тебе не хватало пищи? Разве тебе плохо жилось у меня? Скажи мне, непокорный раб, почему ты бежал? Или для тебя новость, что побег влечет за собой смертную казнь раба?

— Заблудился я, не бежал! — отвечает пленник. Он отлично знает турецкие законы. За мелкую кражу здесь рубят руку, за побег полагаются такие побои, после которых человек уже не может ходить: бьют палками по босым пяткам, калеча кости стопы. При повторном побеге — смерть! Ласковый голос хозяина не обманывает Василия. Если отпереться не удастся — искалечат ноги!

— Так ты не бежал, Селим? О, я верю тебе, мой добрый слуга! Бежал от меня не ты, ибо ты благоразумен и трудолюбив, тебя увели от меня твои глупые непокорные ноги. Мы их и накажем, а не тебя, добрый Селим! Эй, дать этим непокорным ногам сто палок из лучшего самшитового дерева, самого твердого дерева нашей благословенной страны! Сто палок ему, поняли? Ну, что вы стоите, собаки? Он же связан, этот большой урус!..

...Прошло больше месяца со дня зверской экзекуции, которой Василий Баранщиков был подвергнут на дворе Али-Магомета, в присутствии самого хозяина дома.

И хотя работа домашних палачей была проделана с усердием, изувеченные ноги стали подживать! Целый месяц Василий передвигался только ползком, на коленях, словно безногий. При каждом движении он глухо стонал от невыносимой боли, и никто не смел помочь ему из опасения впасть в немилость у хозяина. Наконец самая молоденькая жена из гарема Али-Магомета полюбопытствовала заглянуть в окошечко каморки, разглядела страшные ступни пленника и, преисполнившись жалостью к Селиму, тайком принесла ему пучок целебной травы. По совету женщины, Василий стал прикладывать мелко иссеченную, смоченную водой траву к больным подошвам, и боль как будто стихала. Но еще нечего было и думать о том, чтобы встать в рост и удержаться на ногах.

Изредка в каморку к наказанному беглецу просовывал голову и сам хозяин. Он являлся, чтобы развлечь себя шуткой над незадачливым беглецом-урусом.

— Как чувствуют себя твои ноги, Селим? Они помнели, не так ли? Теперь они не скоро осмелятся покинуть наш благословенный город Хайфу? Чем же ты лечишь их? О! Откуда эта трава?

Василий кое-как облекает ответ в слова чужого языка:

— Эту траву милосердный Аллах вырастил на глинобитном полу моей каморки и приказал мне прикладывать ее к ранам.

— О, мой урус Селим умеет шутить! Лекарственную траву, верно, принес ему кто-нибудь из прислуги... Не таятся ли в ней любовные чары? Где же она у тебя тут растет?

— Аллах за одну ночь вырастил для меня пучок этой травы, которая таит не чары, а силу. Изобильно рождается она в России, прямо на полях, и русские перед боем любят поесть этой травы. Поэтому они и побеждают своих врагов на суше; и на море тоже, о мой повелитель!

— Гм, ты говоришь о наших поражениях, русская собака! Что ж, ешь побольше этой травы, и я пересажу тебя на галеру, когда мы пойдем топить русские корабли.

Дом Али-Магомета красовался среди великолепного сада, занимая обширный прибрежный участок. С террас

этого турецкого дворца и из садовых беседок был хорошо виден порт Хайфы. Даже из оконца своей каморки Василий Бараншиков мог иногда различать флаги кораблей. Полулежа на грязной соломенной подстилке, поглядывая в оконце на рыжие скалы побережья и далекие горные леса, на пену прибоя и сутолоку мелких судов в порту, Василий Бараншиков теперь ясно понимал всю безнадежность своего первого необдуманного побега.

— Без разума наутек пустился, попусту жизнью и здоровьем рисковал, — говорил себе Василий. — Только ноги сгубил понапрасну. Но все равно — от этих иродов утеку! Порт! Море! Вот моя надежда на спасение. Посухопутному и пробовать отсюда не стоило, а море — спасет! Только не нужно, чтобы на дворе догадались насчет выздоровления моего: ведь ожили ноги-то, слава те господи!

Однажды Василий выполз из каморки и остановил мальчика-водовоза, доставлявшего на ослике воду для кухни.

— Эй, Гасан! Пожалей мои избитые ноги! Я хочу купить себе мягкие туфли и не имею сил добраться до базара. Если ты позволишь доехать туда на этом ослике, я и тебе куплю какую-нибудь обнову.

— Купи лучше себе туфли помягче, бедный Селим! — отвечал маленький турчонок. — Не нужно мне никакой обновки. Мне жаль тебя! Только возвращайся скорее с базара, чтобы меня не наказали.

— Я подарю тебе целый пиастр, добрый Гасан, ты получишь его вместе с осликом. Да благословит тебя Аллах, если ты поможешь мне забраться на это упрямое животное. Ох! Ох! Мои бедные ноги!

И Василий Бараншиков, погоняя осла прутом, выехал за ворота.

Вскоре он доехал до базара и смешался с пестрой говорливой разноплеменной толпой. На этот раз он не остановился поглазеть на горы фруктов и орехов, груды тканей, полки с затейливой посудой и утварью. Не рассматривал он и красивых одежд на прилавках, ни вкусных блюд на жаровнях. Он не задержался, против обыкновения, даже у того многолюдного уголка на базаре, где продавцы в чалмах и фесках предлагали покупателям женщин-невольниц. Василий всегда сердечно

жалел этих бедных пленниц, похожих на птиц, посаженных за прутья решеток. Особенно запомнилась ему одна красавица-грузинка. До своего неудачного побега он не раз пробирался на базар Хайфы, чтобы тайком полюбоваться на бедняжку. Пожилой турок, владелец женщины, просил за нее баснословную цену, достаточную, чтобы купить здесь или в любом другом портовом городе на побережье Палестины или Сирии целый дом с виноградником и тенистым садом. Турок и слышать не хотел о скидке.

Пленница всегда сидела на арбе, возвышаясь над толпой, которая бесцеремонно глазела на красавицу. Изредка грузинка чуть приподнимала свое склоненное лицо, и Баранщиков мог видеть ее черные грустные очи. Василий заметил, что хозяин обращался с пленницей ласково и уговаривал ее не печалиться: либо опасался за ее красоту, либо, может, и впрямь жалел красавицу, как жалеет крестьянин овечку, которую ведет на рынок...

С тех пор прошло уже больше месяца, грузинской пленницы, конечно, уже не могло быть на прежнем месте: знать, давно уже тешится ее нежной красой какой-нибудь турецкий богач с крашеной бородой... Василий, глядя на то место, где он привык видеть арбу с пленницей, поторопился поскорее миновать базар, поминутно окрикивая прохожих и понукая ленивого осла. Наконец, оставив животное у какого-то арабского торговца пряностями, Баранщиков, хромая, вышел к берегу и очутился в порту.

Неспроста пустился он нынче в это путешествие: еще из окон своей каморки он вчера приметил не совсем обычный флаг на гафеле входившей в бухту шхуны. Формой своей этот флаг напоминал церковную хоругвь... Радостное предположение мелькнуло у Василия: не русское ли судно? Любой ценой решил он проверить свою догадку. И вот он в порту Хайфы.

Когда Василий ступил на береговую гальку, от незнакомого судна как раз отвалила шлюпка. У Василия замерло сердце: на судовом флаге как будто полоскался в небе православный крест!

Шлюпка пришвартовалась у берега неподалеку, из нее выбрался на песок черноволосый человек с мясистым носом и веселым, очень красным лицом. Человек этот, только ступив на твердую почву, сорвал с головы

шляпу, обернулся к востоку, на лесистые горы «земли Ханаанской», и троекратно истово перекрестился.

— Батюшки! Святым истинным православным крестом осенился! А я-то грешный!.. — горестно подумал Баранщиков.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет никого, Баранщиков умоляющим жестом по-манил чужестранца к себе...

Незнакомец оказался хозяином греческого корабля. Звали его Христофором. Пришел он в турецкую Хайфу, чтобы погрузить кое-какие товары: «сараинское пшено» (так российские купцы именовали тогда рис), мисирские сабли, табак и благовония. Часть груза — двадцать тонн риса — он уже принял на борт в порту Акке. Через трое суток шхуна уходила на юг, в Яффу.

Василий с огорчением убедился, что русского языка грек совсем не понимает. Объяснялся он с Христофором по-турецки, помогая себе итальянским и испанским. Но собеседники недаром были людьми купеческой профессии: они не только смогли быстро столковаться, понять друг друга, но успели в эти краткие минуты даже проникнуться взаимной симпатией. Свое сбивчивое повествование Василий закончил такими словами:

— Такова вся моя правда, друг Христофор. Коли есть у тебя в груди сердце живое — помоги единоверцу бежать.

Грек, видно, любил пошутить. Он хитро подмигнул Василию:

— Единоверцу, говоришь? Я ведь... не мусульманин, друг!

Василий отшатнулся, будто его плеткой огрели. Насмешка была зла! Но грек Христофор, пошутивший столь жестоко, был добрым человеком. Он призадумался, как же помочь незнакомцу, как выволить его из неволи. Дело-то опасное! И времени нет на долгие раздумья — порт кишит соглядатаями. Грек вздохнул.

— Что же делать с тобой, Василий? Коли попадемся, не тебя одного, а и меня за компанию прирежут турки. Все корабли, выходящие из порта, они от трюма до кло-тиков осматривают.

— Помоги! — глухо повторил Василий.

— Помоги! Ведь ты даже стоишь еще не твердо. Как же ты сумеешь ночью до корабля добраться?

— Притворяюсь я. Ноги мои — не больше твоих, Христофор. Ночи нынче темные. К берегу подберусь незаметно, на корабль переплыву как рыба. А там, на корабле... Да нешто мне корабельного хозяина учить, как человека от досмотра спрятать? Нешто контрабанду не возишь? Не выдай, помоги!

— Ну, будь по-твоему, Василий. Послезавтра, ровно к двум часам ночи, приплывай на рейд, к моему кораблю. Там вернее будет, нежели у причалов, здесь — все на виду... Только не ошибись в темноте, к другому судну не подплыви! Пожалуй, повешу я сигнальный фонарик над самым трапом, справа. А поднимешься с другой стороны, левым трапом, смекаешь?

— Чем отблагодарить тебя, друг Христофор?

— Погоди благодарить, дело-то еще не сделано. Ну, а коли все сойдет благополучно, годок у меня матросом походишь, ладно? Иной платы не потребую.

— Ну, что ж, уговор дороже денег. По рукам, друг! Обрадовал ты мое сердце.

— Добро! Коли сумеешь — паспорт спрятанный прихвати. Ступай с богом и помни: послезавтра, в два часа ночи!

Странно шепчется вода, если приложить ухо к корабельному днищу во мраке трюма. Там, за просмоленной доской, ходят в черной бездне морские дива и чуда. Вот, может, сейчас подобрался эдакий морской житель к судну, остановился и колышет плавниками совсем рядом, в двух вершках от затаившегося в трюме человека...

Плещется вода, булькает, ударяет в корабельный борт то глуше, то звонче. Во тьме начинает казаться, что не извне доносится этот плеск и журчание, а просочилась вода сквозь обшивку и теперь медленно заполняет трюмные недра.

Нет, судно проконопачено на совесть! Каждый моряк знает, как обманчивы звуки во мгле корабельного трюма, если слушать их с устранным сердцем! Знает это и Василий Баранщиков, которого добрый грек Христофор укрыл в крошечном тайнике, где человеку даже повернуться трудно. А уж темнота-то непроглядная, поистине мрак египетский! Сколько же часов прошло

с тех пор, как Христофор заложил тайничок доской и присыпал его «сарацинским пшеном», которое занимает почти все пространство трюма? Василию эти часы кажутся вечностью, но по звукам он догадывается, что судно еще не покинуло турецкий порт.

Из дворца Али-Магомета Василий сбежал удачно: с наступлением темноты взобрался на каменную стену, и, перекрестившись, спрыгнул вниз, на ту сторону. Для недавно подживших ног этот прыжок с четырехаршинной высоты был тяжелым испытанием. Кривыми улочками беглец спустился к берегу, приладил мешочек с паспортом прямо на бритой голове, подтянул порты веревочкой, заправив в них рубаху, и вошел в воду. К судну он подплыл без брызг и плеска, обогнул корабль и тихонько поднялся левым трапом на палубу. Христофор сразу свел его вниз.

...Вот оно, начинается! Сквозь щелку в стене тайника появляется искорка света. Рядом зазвучали негромкие голоса... Они все слышнее... Шаги!

Турецкие таможенные стражи подошли почти что вплотную к тайнику, что-то осматривают, переговариваются. Василий замер в своей норе. Только сердце в груди стучит так, что, кажется, по всему кораблю передается этот частый, глухой стук...

Вот и голос грека Христофора... Один из стражников берет в руку горсть рису, Василию слышно, как сыплется струйка зерна... Погрузив руку в зерно по локоть, стражник легко может нащупать тайничок... Василий пытается вникнуть в то, о чем стражники толкуют с Христофором:

— Твой корабль не так велик и прочен, как турецкие суда, да пошлет им Аллах попутного ветра! — но и на твою шхуну, Христофор-ага, ты сумел погрузить немало прекрасных товаров и справедливо можешь ожидать большие выгоды. Пошлину великому повелителю правоверных, султану Блистательной Порты, ты, правда, уже уплатил, но передо мною, начальником портовой таможенной охраны, ты еще в долгу. Если ты не отдашь необходимой дани уважения мне, то я велю перерыть этот трюм и весь твой корабль так, что он перевернется вверх килем. Тогда я обязательно обнаружу у тебя что-нибудь запретное, не оплаченное пошлиной, и тебе

придется предстать перед судом... Вникаешь ли ты в смысл моих слов, ага?

Баранщиков, съжившись в своем убежище, ждет ответа. И вот — голос грека:

— О мудрый и высокородный эффенди! Если ты вывернешь это нищее судно даже наизнанку, стражники твои не найдут в трюме и на полпиастра запретного. Я честный грек и блюду интересы своего народа, подчиненного власти султана. Даю тебе в этом мое честное слово! Но, чтобы начальник здешней таможни убедился в моем к нему бескорыстном уважении, я готов сделать ему приношение в меру моего скромного достатка. Не примет ли эффенди вот эту золотую цепочку редкостной красоты?

— Хм, цепочка отнюдь не тяжела, Христофор-ага! Пойдем-ка поближе к трапу, к свету, я осматрю эту вещицу... Да, цепочка, хоть и не тяжела, но она затейлива и будто сделана для одной лилейной шейки! Что ж, да пошлет тебе Аллах удачи, ибо осмотр закончен, и судно твоё может покинуть пределы порта беспрепятственно. Алейкум селям, Христофор-ага!

Стихает в трюме топот ног. Где-то плеснули весла. Шлюпка отплывает... Эх, таможенники! До чего же, видать, все вы похожи друг на дружку, у всех — одна стать, датские ли вы, испанские, турецкие...

Василий еще не решается постучать в стенку тайника. Но вот будто громче заплескалась вода. Сильнее заколыхался корабль. В парусах, наверху, уже явственнее слышится шелест ветра, самого лучшего ветра в мире, ветра свободы!

В СКИТАНИЯХ

Этот ветер свободы помог достичь Яффы менее чем за двое суток. Василий упросил своего нового хозяина прихватить его в Иерусалим, ко гробу господню. Христофор имел в Иерусалиме торговые дела и отправлялся туда вместе с христианскими паломниками из разных стран. Василию позволили примкнуть к этой группе верующих, которая насчитывала два десятка человек. От Яффы до Иерусалима — верст сто восемьдесят, паломники проходят их обычно пешком. Правда, ходить в оди-

ночку нельзя — по дороге ко гробу господню странник может обрести гроб и для самого себя: разбойники непременно ограбят и убьют одинокого путника.

В Иерусалиме Василия ждало разочарование: ко гробу господню его не допустили. Слишком высока была плата, установленная турецким султаном для входа в христианский храм Вознесения. Не собрали нужной суммы и попутчики Василия. Пришлось им лишь снаружи посмотреть на древнюю твердыню веры и отправиться восвояси, проделавши попусту многие сотни и тысячи морских и сухопутных миль.

Василий так сокрушался о своей неудаче, что грек повел его к знакомому христианскому священнику, который в маленькой православной часовне исповедал нижегородца, отпустил ему грех вероотступничества и, в знак освобождения Баранщикова от турецкой клятвы, велел сторожу часовни заклеить правую руку Василия, повыше турецкого клейма, изображением креста господня. Это святое клеймо стало уже одиннадцатым на теле Василия Баранщикова, и, хотя сторож причинил ему снова тяжкую боль, лишив возможности шевелить рукой в течение трех суток, все-таки ему радостно было сознавать, что на сей раз боль угодна господу! На прощание греческий священник в часовне пояснил Василию, что теперь он свободен от вины перед христианским богом, но может навлечь на себя немилость правых слуг Аллаха. Василий и раньше знал, что любой турок вправе убить вероотступника, как ядовитую змею. Даже касаться рукой предмета, оскверненного прикосновением отступника, строго-настрого запрещено мусульманину. Аллах, как и большинство богов, был жесток и мстителен!

Обратный путь от Иерусалима до Яффы паломники проделали за трое суток. Измученные знойной дорогой, приплелись Христофор с Василием на борт своей шхуны и в тот же день отплыли в Европу...

Немало разных портовых городов перевидел Василий, плавая на греческой шхуне по ласковым водам Средиземного моря. И однажды перед восхищенным нижегородцем предстала пленительная картина венецианской торговой гавани. Здесь, в знаменитом городе дворцов и каналов, в самом сердце аристократической Венецианской республики, враждовавшей с Портой

не на жизнь, а на смерть, Василий Бараншиков, беглец из турецкой неволи, встретил сочувственное отношение к себе со стороны властей.

В канцелярии Большого Совета, куда Василий сразу по приезде обратился за помощью, его сперва подвергли строгому и подробному допросу. Безыскусный рассказ Бараншикова о побеге из плена, измятый испанский паспорт, многочисленные клейма на теле и, наконец, страшные подробности гибели венецианского моряка Антонио Ферреро — все это расположило чиновников в пользу «Мишеля Николаева».

Венецианские власти снабдили Бараншикова небольшой денежной суммой, а главное, выдали ему официальный венецианский паспорт, чтобы облегчить Василию дальнейшее странствие к родной стране. На паспорте был напечатан геральдический венецианский лев рядом с покровителем города дождей, апостолом Марком.

С этим вторым паспортом Василию Бараншикову было легче наняться в венецианском порту на любое судно, идущее к российским границам. Но Василий посоветился обмануть своего благодетеля Христофора: ведь он обещал проплавать с греком год, а прошло лишь несколько месяцев со дня его побега от турок. Василий воротился на шхуну, показал товарищам свой роскошный паспорт, спрятал его поглубже и полез на рею ставить паруса.

У Христофора-капитана были дела во всех портах Средиземного моря, и в каждом порту Василий справлялся, нет ли здесь консула российской державы.

Наконец, в Триесте, консул сыскался, выслушал Василия и посоветовал ему направиться в Стамбул, турецкую Византию, к российскому императорскому послу в звании министра Якову Ивановичу Булгакову. Уж он-то, дескать, поможет!

И опять портовые города, чужая речь, смуглые женщины, синие волны и тяжелая матросская работа. В плавании хотелось поскорее добраться до ближайшего порта, и невидимый берег казался желанным и манящим, пока кругом расстилалась переменчивая водная пустыня или две голубые бесконечности вновь и вновь повторялись друг в друге. А когда тяжелые якоря ложились на дно и судно замирало на месте, когда матросы, потолкавшись на берегу, спали в своих подвесных кой-



ках в кубрике и с палубы виднелся чужой городок в огнях, — тогда властно начинал звучать в сердце Василия голос моря! Да, он стал настоящим моряком, вечно беспокойным человеком, который стремится с палубы на берег, а с берега — на палубу, в порту ждет не дождется отплытия, а в море напряженно всматривается в даль, голубую или черную, не виднеется ли огонек или не показался ли знакомый мыс на горизонте!

Конец службы на греческой шхуне был уже близок, когда корабль отдал якоря в порту Смирны. Сдавши вахту, Василий отправился в город, казавшийся издали особенно красивым. Нижегородец неторопливо шагал по нарядной улице к нижнему городу. Вдруг он увидел знакомое лицо... Молодая женщина в полувосточном, полуетропейском наряде садилась на породистую верховую лошадь. Василий Баранщиков сразу узнал ту самую грузинскую красавицу, что запомнилась ему на базаре в Хайфе.

Красивый молодой араб помог ей сесть в седло, и оба ускакали в сторону загородных дач. Видно, судьба бывшей турецкой пленницы сложилась счастливо, и Василий так порадовался за молодую женщину, будто она была ему близким знакомым человеком. Эта встреча показалась Василию как бы добрым предзнаменованием и для его собственной судьбы. Может быть, поэтому о днях своего пребывания в Смирне Баранщиков сохранил какое-то теплое, благодарное и радостное воспоминание.

Путь из Смирны лежал теперь в Царьград, и как раз здесь, в магометанской Византии, окончился договорный год службы у грека. Друг Христофор отпустил своего матроса с миром, сердечно с ним распростился, но... Василий сошел со шхуны в константинопольском порту, у Нового моста через Золотой Рог, с таким же пустым карманом, с каким поднялся в Хайфе на ее борт: дела коммерческие у грека шли не блестяще, и он не смог дать матросу Баранникову ни гроша.

С сомнением осмотрел Василий свои холщовые доспехи, шаровары и матросскую куртку. Но — делать нечего! Начистивши сапоги и водрузив на голову добытое у какого-то матроса подобие картуза, зашагал Василий Баранников к зданию российского посольства в Стамбуле. Однако еще в порту он услышал, что в городе свирепствует повальная моровая язва и все иностранные дипломаты и важные господа покинули зараженный Стамбул и переселились в свои загородные дачи и дворцы.

Со смешанным чувством надежды, страха и радости шагал Василий по пыльным и знойным улицам Византии, даже не замечая неповторимой красоты этого древ-

него града греческих императоров и пышных турецких султанов.

Солнце жгло ему спину, когда, миновав карантин и Галатскую башню, он добрался до тенистой, нарядной улицы в Пере — квартале посольских особняков. Встречный французский матрос объяснил ему, что здесь, на «гран рю де Пера», кварталом дальше, находится дом российского посла и министра...

Вот и сад российского посольства. Торжественное молчаливое здание... Магнолии в цвету... Мраморный водоем... Фонтан... и... русские слова на медной доске!

Сквозь решетку садовой калитки на Василия поглядывал какой-то пожилой слуга, только что, видно, подметавший дорожки, аккуратно присыпанные песком. Не помня себя от волнения, впервые за четыре года, заговорил Василий вслух по-русски. Дворник покачал головой.

— Его превосходительство на мызе пребывать изволят, на берегу. Бююк-Дере местечко называется, верст тринадцать отсюда. В городе-то, вишь, поветрие морское, чай, сам слышал?

Вздыхнув, Баранщиков пустился в далекий путь. Миновав Перу — посольский квартал города, по крутой, но удивительно красивой дороге, через Бешикташ и Ортакей шагал он к посольской мызе. Дорога вела мимо летних султанских дворцов, мечетей, увеселительных киосков и бесчисленных фонтанов, метавших в голубую высь серебряные копыя своих струй.

Через три часа, измученный жарой и голодный, добрался он до берегов Босфора, увидел издали грозный замок Румели-Гиссар, а напротив, по ту сторону узкого здесь пролива, другой замок-крепость — Анадоли-Гиссар. Сейчас его не трогала чарующая красота босфорских берегов, с их отвесными скалами, стройными кипарисами, лаврами и вековыми платанами, таинственными развалинами старых башен, великолепными садами и дворцами турецкой знати. Такой роскошной панорамы Баранщиков не видел нигде за всю свою жизнь. Но в эти минуты он был равнодушен к ней и размышлял только об одном: как бы добраться до посла.

Наконец открывается перед ним нарядная мыза. Василий одергивает на себе потную рубаху, приглаживает мокрые волосы и, подергав козырек картуза, сту-

чит бронзовым молоточком в начищенную бронзовую дощечку на двери.

Через минуту дверь тихо приоткрывается, из нее показывается седая голова, обшлаг ливреи с позументами... Батюшки-светы, никак генерал в дверях стоит! Василий так оробел, что не смог выговорить ни слова. Он сорвал с головы картуз, в замешательстве прижал его к груди и... молчал!

«Генерал» в швейцарской ливрее с достоинством подождал, затем произнес заученную фразу по-турецки, повторил ее по-французски и, наконец, потеряв терпение, сделал жест, который по-русски мог быть выражен нехитрыми словами: пошел прочь!

Василий в отчаянии ухватился за дверь и, запинаясь, произнес, что имеет дело к послу российскому.

— А кто послал тебя к его превосходительству? Что ты за птица такая и откуда? — высокомерно спросил швейцар.

— Ваше благородие! — умоляющим голосом, чуть не плача от волнения и уже поняв, что перед ним стоит лицо не генеральского звания, заговорил Василий. — Дозвольте доложить! Российский я подданный, из города Нижнего Новгорода, второй гильдии купец...

— Кто там? — раздался в глубине вестибюля высокий пронзительный голос. — С кем ты там препираешься, Иван? Впусти его в переднюю.

Швейцар Иван пошире приоткрыл дверь, и Василий Баранщиков вошел в прихожую посольской мызы. Перед рослым нижегородцем оказался тщедушный человек в кафтане и камзоле, с аккуратно повязанным белым галстуком. Лицо человечка, тщательно выбритое, было напудрено столь же густо, как и парик. Он посмотрел на Василия через лорнет и тотчас же небрежно уронил его на шнурок. Василий поклонился в пояс и начал торопливо излагать свое ходатайство. Он хотел испросить себе российский паспорт и получить совет, как поскорее добраться домой, но выразить все это кратко и складно нижегородец от волнения не сумел. Убоявшись, что важный старик может усомниться в правдивости его рассказа, Василий стал вдаваться в подробности. Он не перечислил и трети своих походов, как старичок нахмурился, поморщился и начал от нетерпения постукивать пальцами по мраморному столику. Так

и не дослушав рассказа, он досадливо перебил Баранщикова:

— Так чего ж тебе, в конце концов, надобно? Зачем явился к его превосходительству беспокоить? Только заразу принесешь нам.

Василий, втайне ожидавший, что перед ним — сам посол, смутился еще больше.

— Дозвольте спросить вашу милость, кем вы-то сами быть изволите?

— Тебе, дураку, сие без надобности! Ну, дворецкий я, управитель дома его превосходительства посла российского, и некогда мне тут со всяким прощельгой лясы точить. Нужды нет его превосходительству за вас вступаться, много вас таких ходит, и все вы сказываете, что нуждой отурчали. Убирайся-ка подобру-поздорову!

— Ваша милость, не велите казнить! — взмолился Баранщиков. — От порога российского не гоните, зане я государыне своей подданный такой же, как и сами вы. Извольте доложить обо мне послу.

— Так ты еще учить меня вздумал, смерд! — зашипел старик, и в его крысиных глазках засверкала злоба. — В последний раз сказываю: коли не уберешься отселе немедля или еще раз мне на глаза попадешься — велю в кандалы забить и полиции турецкой передам. Вон, тварь!

И пошел Василий Баранщиков прочь от посольской мызы, как сам он повествует, «обремененный нуждою, в унынии и слезах». Закаялся он допроситься милости от государственных, царских чиновников, понял, что пес и в золотом ошейнике — все пес!

До порта добрался он уже в полной темноте и, когда увидел отраженные морем звезды и дрожащие на воде отсветы портовых огней, почувствовал такую усталость, что бессильно свалился под какие-то тюки, да так, чуть не на голой земле, и проспал до рассвета.

Утром, протеревши глаза и ощутив сильнейший голод, решил поторопиться обратно на греческую шхуну: авось его место в кубрике осталось еще никем не занятым.

Тем временем из-за крыш выглянуло солнце, муэдзины, призывавшие правоверных на молитву, спустились со своих минаретов. Василий дивился сказочной красе города и залива. Первые солнечные лучи осветили Зо-

лотой Рог. Но, вглядываясь в даль, туда, где за мысом Серай Босфорский пролив встречается с пенистой ширью Мраморного моря, Василий увидел среди этой синей сверкающей зыби... корму своей шхуны: она уходила в сторону Принцевых островов!

Грек Христофор, напуганный слухами о моровой язве и карантинном режиме, поднял на рассвете якоря и вышел в море. Голодный Василий Баранщиков сорвал с головы картуз, швырнул под ноги и с остервенением втоптал его в дорожную пыль.

...Два месяца он проработал грузчиком в порту Стамбула, ночуя с оборванцами в ночлежке, в домишках портовой бедноты, а то и прямо у причалов. Лишь изредка случалось ему прожить по несколько дней в домах состоятельных греков: он нанимался к ним на поденные работы, а потом снова возвращался в порт. Зарабатывал он за сутки «на круг» по два герша, или пиастра, то есть примерно гривен восемь серебром на русские деньги, но в России такой дневной заработок мог прокормить большую семью, а здесь! Двух пиастров еле-еле хватало Василию на харчи: и хлеб, и мясо, и даже рыба были дороги в Стамбуле. Всего дороже обходилась обувь. Здешние мягкие кожаные туфли-чуваки были непрочны, их никогда не хватало даже на месяц, а стоили они двух-трехдневного заработка. Присмотревшись к работе турецких сапожников, Василий сам между делом стал учиться шить кожаную обувь на турецкий манер и приобрел даже кое-какие сапожные инструменты.

Однажды услышал Василий Баранщиков от греков, будто есть в Константинополе и российский Гостиный двор. Василий так обрадовался, что еле дождался конца трудового дня в порту. Перетаскавши на спине тонны полторы мешков с мукой, Василий чуть не бегом, весь запорошенный мукой, отправился к землякам. На Гостином дворе увидел он не менее сотни лавок, где на скамьях и на стульях, а не на коврах и циновках, как турки, восседали российские купцы. Среди них было немало «некрасовцев»*, давно покинувших Россию и молившихся по-старинному, но были и коренные русаки, лишь на время приехавшие в Стамбул с родины

* Русские казаки, целыми семьями эмигрировавшие в Турцию во главе с атаманом Некрасой после Булавинского бунта при Петре I.

и поддерживавшие связи с российским посольством. Торговали здесь железом, русским мылом, кожаным товаром, деревянными резными изделиями, а также коровьим маслом, хлебным зерном и медом.

К Василию Баранщикову в рваной одежде, с огрубевшим на ветру голосом, загорелому, наподобие мавра или арапа, купцы на подворье отнеслись недоверчиво. А как услышали, что оборванец, выдающий себя за нижегородского гильдейного купца, просит деньгами помочь, и вовсе подозрительным он показался. Рассказы Василия о его злоключениях купцы слушали с ехидством и насмешками: дескать, про такое в писаной «Гистории о Василии Кориотском, российском матросе» прочитать можно, а в жизни такого еще ни с кем, ни с одним живым купцом, не случилось! Горазд, мол, речистый турусы на колесах разводить. Иные, добрее да попрямее сердцем, качали головами и вздыхали сочувственно, стесняясь, однако, показать, что веру дают словам бродяги, чтобы не прослыть простаками, и денег не предлагали. Не сумел Баранщиков внушить землякам доверие, может быть, именно потому, что говорил им правду, а она, как известно, частенько бывает необычнее вымысла!

В конце концов нижегородец сообразил, что не с того конца начал. Чтобы побороть недоверие земляков и убедить их в истинности своего рассказа, надо бы показать им паспорт и клейма. Но как показать здесь, в турецкой столице, правую руку? Если откроется его отступничество от магометанства, не сносить ему головы.

Тем не менее он попросил наиболее благосклонных к нему российских негоциантов собраться под вечер в одной из лавок. Купцы пришли, уселись, словно на аукционе, и Василий пустил по рукам свой венецианский, а затем и гишпанский паспорта.

Гости с недоверием их осмотрели и, как Василий того и ожидал, выразили сомнение, что владелец этих паспортов Мишель Николаев и он, именующий себя Василием Баранщиковым, — суть одно лицо.

— Да как же, господа, не одно лицо! Извольте взглянуть на мою левую руку.

Василий обнажил руку до плеча. Повскакали с мест негоцианты, позабыв про купеческую степенность, и на-

перебой, ахая да охая, стали ощупывать разрисованные мускулы Баранщикова. Клеймо с буквами М. Н. (Мишель Николаев) свидетельствовало, что его обладатель действительно носил такое имя. Но самые недоверчивые продолжали упорствовать:

— А чем докажешь, что не сам ты сии клейма на себе наколол, чтобы честной народ в обман вводить, рубли с него за показ выпрашивать? — громогласно воскликнул бородатый хлеботорговец.

Василий Баранщиков с усмешкой глянул на него.

— Не велишь ли, батюшка, и на тебе таких печатей наставить? У меня их много припасено: обмана людей ради вожу их с собою с острова гишпанского. Пожелаешь — мигом изукрашу. Сможешь тогда и ты с честного народа за показ рубли выпрашивать!

Шутка понравилась, кругом захохотали. Недоверчивый купец плюнул и отошел: чего с прощельгой в спор вступать? Негоже оно, зазорно.

Между тем кто-то приметил и на правой руке Василия «печати».

— Да ты, брат, уж не пугачевец ли клейменный? — раздался негромкий с хрипотцой голос. Все обернулись. Вопрос задал мелочный торговец, по прозвищу Крючок, державший на краю Гостиного двора маленькую лавчонку, очень часто закрытую. На Гостином дворе уже давно подозревали в нем тайного турецкого шпиона. Сюда Крючок явился незванным. Он бочком подобрался к Василию и резким движением задрал правый рукав, обнажив турецкое клеймо Али-Магомета — знак восходящего солнца.

— Эге-ге! — протянул Крючок, — так ты, видать, стреляная птица! Клеймо-то магометанское... Говори теперь правду: кто тебя отурчил? Откудова сбежал?

— Господа купцы! — дрогнувшим голосом проговорил Василий. — Был грех, не скрою: неволею отурчал, а потом во святом граде Иерусалиме грех замолил и прощение обрел. Али святого креста господня не усматриваете повыше клейма турчинского? Бог вам судья, только мне теперь здесь нельзя оставаться! Уйду куда очи смотрят. Об одном прошу, братцы: не выдайте!

— Зачем же выдавать, — заговорили разные голоса. — Иди, откуда пришел. Ни ты нас, ни мы тебя... Ступай себе с богом!

— Куда ему идти, — с издевкой сказал Крючок. — Поймают — секим-башка ему сделают, Мишелю этому, свет Николаеву... Куда податься-то замыслил?

— За рубеж турецкий... счастья попытать хочу, — тихо отвечал Баранщиков. — Думал, земляки малость деньгами помогут.

— Пустое! Не выберешься живым и на колу сгинешь. Ладно уж, пособлю тебе в беде... Прощеньица просим, почтеннейшие! Ну, иди за мной, что ли, купец нижегородский, хе-хе-хе!

Крючок повел Василия через Гостиный двор к своей лавчонке, заглянул в нее, что-то сунул в кожаный мешок (оно затарахтело в мешке железками) и вышел на крутую узкую улицу.

— Идем. Не отставай. Не то пропадешь — выдадут тебя теперича купцы беспрременно!

Миновав величественную мечеть Джихангир, они двинулись по направлению к Галата-Серай, где находился полицейский участок. У Василия заныло сердце от дурного предчувствия. Невдалеке от здания полиции Крючок ввел Баранщикова в небольшую кофейню, усадил его на ковре у низенького столика и велел хозяину послать мальчика за Усманом-ата.

— Усман-ата — это первый мой друг и благодетель, немаловажный человек в Стамбуле, его сам великий визирь знает, — пояснил Крючок Баранщикову. — Коли заслужишь его одобрение — значит дело твое будет верное.

Василий догадывался, что становится жертвой какого-то вероломства и вот-вот угодит в новую беду. Он ясно видел, что здесь, в подозрительной турецкой кофейне, Крючок чувствует себя своим человеком. С тоской Василий оглядывался по сторонам, а собеседник будто по книге читал на простодушном лице нижегородца все его мысли:

— Утечь — и не помышляй! Поймают немедля. Через границу турецкую тебе не перейти: рубеж морской зорко стерегут, да и не добратся тебе туда на челне. Визирь велел крепко морскую границу охранять, дабы врагам султана не повадно было запретные товары безданно-беспошлинно в Порту провозить. Также и на границах сухопутных кордоны стоят, а без дороги попытаешься пройти — жители выдадут. Так что одно твое

спасение — Усман! Коли насупротив его пойдешь — сгинешь, коли упрямитесь станешь — не миновать тебе...

Крючок поперхнулся и умолк, потому что в кофейню вошли двое — турецкий мулла и высокий жилистый человек в дорогой одежде и чалме. За поясом у него был заткнут пистолет, как у янычара. Василию было нетрудно угадать, что пришли за ним, потому что оба вошедших сразу подозвали Крючка, поздоровались с ним на восточный манер и при этом высокий бросил на Баранщикова испытующий взгляд. Втроем — мулла, высокий и Крючок — они посовещались между собой шепотом, будто бы о чем-то торгуясь. Очевидно, высокий с пистолетом и был «немаловажным в Стамбуле человеком» — Усманом-ата. Крючок отдал ему мешок, прихваченный из лавчонки, а Усман отвернул полу халата, достал увесистый кошелек, неторопливо отсчитал двадцать серебряных монет и вручил их Крючку. Тот поглубже распахнул их по карманам, чтобы не звякали, низко поклонился Усману и удалился, не удостоив Василия даже прощальным взглядом. Усман показал Василию на выходную дверь и чистейшим русским языком, выговаривая слова по-верхневолжски, на «о», приказал идти за собой:

— Поведу тебя пока не в полицию, а к себе домой, не бойся! Там у меня и потолкуем в холодке. А бежать — не советую. Имам Ибрагим-баба вмиг поднимет на ноги всю стамбульскую полицию. Ступай вперед и помни: пистолет мой заряжен, рука — верна, а пуля — тяжела!

На улицах было уже совсем темно. Только теплые южные звезды чуть мерцали и казались украшениями на остроконечных стамбульских шпилях. Очертания зубчатых стен, тонкие минареты и башни Царьграда выступали из этой звездной, словно пронизанной золотыми нитями, синевы подобно парчовому узору на шелковом аксамите.

У выхода из кофейни хозяин пошептался с Усманом, сбегал в чулан и принес зажженный фонарь со щитком. Фонарь он сунул в руку Василию, и тот зашагал, освещая плохо мощенную улицу. Позади него, оставаясь в тени, шли Усман и мулла Ибрагим-баба. Так миновали они несколько узких улиц и тесных площадей, обогнули монастырь дервишей, прошли по темной улице Топ-

хане и свернули с нее в извилистый переулок с бедными строениями. Этот ночной путь с молчаливыми и загадочными компаньонами запомнился Василию долгим, утомительным и зловещим, хотя, как впоследствии оказалось, они не отшагали и версты. По дороге Баранщиков несколько раз пытался заговорить с Усманом, но тот отмалчивался. Наконец, Василий решился спросить напрямик:

— Скажи мне хоть, кто ты. По речи твоей догадываюсь, что ты из России.

— Угадал, брат. Из города Арзамаса. Когда-то сапожное дело там имел. Ну, да что прошло — то ушло, и знать тебе про то — не к чему!

— И давно ты отурчился, земляк? Волею или неволей?

Усман сухо рассмеялся и сзади подтолкнул Василия пистолетом в спину.

— Ишь, чего захотел! Много знать — скоро стариться. Нешто здесь про это спрашивают? Шагай быстрее, дома потолкуем!

Остановились они против большого дома с глинобитным забором-дувалом и тенистым садом. Темные кроны садовых деревьев свешивались над забором. Фонарь осветил маленькую резную деревянную дверь, в которую Усман тихо стукнул. Пока внутри ограды кто-то гремел засовами, десяток псов сбежались на свет фонаря и подняли в переулке оглушительный лай.

Комнат в доме было много, обстановка — достаточная. По восточным тахтам и оттоманкам валялись шали, подушки и книжка восточных стихов или каких-то изречений. За стеной, в женской половине дома, приглушенно звучала лютня, слышались смешки и женская речь. Усман строго прикрикнул на незримых гурий, минуту в доме царила тишина, а потом звуки возобновились. Усман подмигнул Василию: мол, женщины, ничего не поделаешь!

Хозяин дома привел Василия в небольшую кальянную. Стены и потолок этой комнаты были завешены недорогими темными коврами, пол сплошь устилали старые потертые ткани и плотные циновки. Посреди комнаты курился настоящий персидский кальян с чашей из кокосового ореха. У стены, на особой подставке, красовалась целая коллекция трубок. В комнате

сильно пахло табаком и кофе. Усман, Ибрагим-баба и Василий расположились на циновках, потянули ароматный дым из деревянных чубуков, и голова у Василия сразу закружилась. Около себя Усман положил тот мешочек, который в кофейне передал ему Крючок.

Накурившись и отдохнув с дороги, Усман хлопнул в ладоши. В тот же миг два рослых молодых человека, судя по чертам — сыновья Усмановы, шагнули через порог и стали навтыжку у дверей, держа в руках обнаженные сабли. Василий хоть и крепился, а побледнел: дело шло к развязке!

Усман, насладившись произведенным эффектом, медленно развернул мешочек. Из него со звоном выпали ручные кандалы. Хозяин дома небрежно бросил их на ковер рядом с Василием, хладнокровно выпустил изо рта колечко дыма и заговорил внушительно:

— Я вижу, ты понял, что противиться нам бесполезно. Да мы тебе и не враги. Говори: будешь ли ты отвечать нам всю правду? Или отправить тебя в полицию, которая лучше нас разберется в твоих клеймах? Выкладывай-ка все без утайки.

Отпираться было напрасно, и Василий рассказал Ибрагиму-мулле и хозяину дома обо всем, что произошло с ним после пленения генуэзской бригаантины. Умолчал он лишь о своих документах. Слушатели покачали головами.

— Ты пропал теперь, если ослушаешься нас, — сказал Усман. — Предлагаю тебе выбор: жить в таком же достатке, как я, или умереть от руки капиджи-аги, то есть стамбульского палача. Коли у тебя на плечах не пустая тыква, а добрая башка, и коли ты хоть немножко дорожишь ею, то мы с Ибрагимом-муллою можем спасти тебя.

— Что же я должен сделать для этого? Чего вы от меня потребуете?

— О, сущую безделицу. А дадим тебе — безбедную жизнь. Видишь ли, предать тебя полиции и полюбоваться на твою казнь — дело для нас бесприбыльное. Ты же можешь не только спастись от меча капиджи-аги, но и пополнить кошельки и себе, и нам. От тебя потребуется одно: ходить со мною по домам стамбульских богачей и знати — и деньги сами посыплются на тебя, как серебряный дождь. Ты должен бу-

дешь выдавать себя за вновь обращенного мусульманина. Для этого тебе придется больше молчать, пока я буду говорить, потом четко произнести одну-две короткие молитвы Аллаху и... подставлять тюрбан, куда богачи набрасают кучу монет.

Василий недоверчиво покачал головой. Смеются они над ним, что ли?

— За какие же доблести бояре турецкие меня монетами осыплют?

— Не догадываешься? Тебя будут одаривать деньгами как вновь обращенного мусульманина, понял?

— Слушай, Усман-ага, — со вздохом заговорил нижегородец. — Жить мне, понятное дело, охота, но задумал ты... того, неладное! Какие же дурни на слово поверят, будто я — вновь обращенный? От веры турецкой я отошел давно и грех свой отмолил в святом граде Иерусалиме. Человек я православный, греха не повторю, неволю мне сие. Что ж, вели вязать меня! Хошь вяжи, хошь выдавай, хошь за полицией сразу посылай — а снова от веры отречься не в силах. Не стану я, Усман. Уж прости меня, брат!

— О глупец! Хорошо, что мулла Ибрагим глуп и ни бельмеса не смыслит по-русски! Он не понял безумия слов твоих! Да кто тебя просит отречься от твоей веры? Гляди на меня: я принял турецкую веру только для вида, чтобы ловче было мне обманывать дураков здешних. А не верю я ни в сон, ни в чох, ни в русского бога, ни в турецкого Аллаха. Верю в одного... маммоню! И черт, уж не знаю, русский или турецкий, не плохо мне помогает дурачить простаков. От тебя потребуется только хитрости на пятак, а купцу ее не занимать-стать у соседа!

— Богачи турчинские не так глупы, чтобы швырять деньги первому встречному. Не поверят они твоей басне.

— Уж будто и не поверят! Это тебе только со страху так кажется. Поверить-то трудно правде, а ложь всегда умеет на правду смахнуть. Наш почтенный друг Ибрагим-баба — смотри, он уже носом клюет — тоже любит серебро больше, чем Аллаха, и не откажется от двух десятков пиастров! За эти деньги, — продолжал Усман уже по-турецки, — Ибрагим-баба обещал написать прекрасную бумагу, которая

удостоверит, что ты лишь нынче принял ислам... Целую неделю обращенный имеет право собирать пожертвования... Ну, как, Селим, велишь ли убрать отсюда эти кандалы и моих молодцов с саблями?

Василий сокрушенно вздохнул.

— Поступай, как знаешь. Я в твоих руках.

— Ну, то-то!

Усман только бровью повел, и оба молодца, подхватив с пола железные кандалы и поблескивая клинками, исчезли за дверью.

— А теперь, друзья, в честь будущей удачи, я угощу вас неким запретным напитком, и до утра вы оба уснете под моим кровом, чтобы никто не упрекнул вас на улице в нарушении шариата!

ЯНЫЧАР СЕЛИМ

Документ, написанный Ибрагимом-муллою, восхитил своим высокостепенным видом не только Василия Баранщикова, но даже самого Усмана. Прекрасная арабская скоропись гласила, что вновь обращенный мусульманин Селим готов к неуклонному соблюдению заповедей ислама и уже выучил у Ибрагима-муллы одну молитву Аллаху. Лучше поменьше заучить, да подтверже помнить!

Ловкий и решительный Усман на другое утро отправился вместе с Селимом не к второстепенным особам, не к средней турецкой знати, а прямо в Баби-Али, в резиденцию самого великого визиря Высокой Порты.

Попали они во двор обширной канцелярии в очень выгодный момент. Во дворе здания, построенного в итальянском стиле, кишмя кишели слуги, просители, посетители, турецкие чиновники, судьи и полицейские. Усман знал здесь все входы и выходы и занял самую выгодную позицию. Он ухитрился первым предстать перед очами великого визиря и сразу же вытолкнул перед собою рослого и ладного Селима. Визирь с удовольствием оглядел белокурого богатыря, мельком взглянул на бумагу Ибрагима-муллы, похвалил миссионерское рвение Усмана и повелел выдать новообращенному сто пиастров. Затем, указав на Се-

лима начальнику янычар, визирь приказал определить неофита в состав янычарского войска при дворе самого султана, его величества Абдул Гамида Первого! Наконец, великий визирь, благосклонно и милостиво кивнув Баранщикову, заметил, что покамест ему не возбраняется продолжать сбор пожертвований в свою пользу. Только это и требовалось Усману-ата!

Правда, пожертвования других богачей и сановников уже не были столь щедрыми, но тем не менее по прошествии дозволенной для сборов недели в кошельке Селима набралось более четырех сотен гершей, что на русские деньги равнялось примерно ста шестидесяти золотым рублям. Кошелек стало опасно носить при себе, и, чтобы не утруждать Василия и не вводить его в излишние соблазны, мудрый Усман освободил своего подопечного от столь обременительной тяжести.

Однако Усман истратил некоторую часть этих денег и на покупку обмундирования и снаряжения новому султанскому янычару. С этой целью Усман отправился вместе с Василием сперва на Большой базар Стамбула. Великолепие базара удивило нижегородского купца. Ни на одной ярмарке он не видел такого оружейного ряда, как здесь. Но, несмотря на поразительное изобилие всех видов оружия, стоило оно на стамбульском Большом базаре не дешево. Тут, в оружейном ряду, они с Усманом выбрали для Василия пару пистолетов, а за одеждой отправились на другой базар — «ясыр-безестен», или базар невольников. В своей книжке Василий Баранщиков так описал этот базар:

«Ясыр-безестен определен для продажи разных невольников и невольниц, из коих по большей части видны тут уроженцы аравийские и грузинские. Бедные невольники, а особливо бабы и девки, содержатся в лавках так, как птицы в клетках, и могут быть купцами, торговавшими их, осматриваемы быть нагие с головы до ног, нет ли каких на теле их пороков или болезни. Цена женщины определяется здесь по мере их красоты, так что ото ста рублей платят за одну хорошую девку до двух и трех тысяч, а иногда и более» *.

* «Нешастные приключения», изд. III, 1793, стр. 93—94.

Наконец обмундированного и вооруженного Селима доставил Усман к янычар-аге, начальнику янычарского войска. Тот принял Селима приветливо и тотчас же приказал поместить нового янычара в казарме для холостых, находившейся в Эт-Майдане, верстах в трех от дворца, или Серая, где Селиму предстояло нести службу.

Неотступный Усман проводил Василия и до казармы. Прощаясь с ним, он многозначительно шепнул на ухо «воину Селиму»:

— Из казармы я тебя вызволю! Негоже быть тебе на жительстве среди прочих янычар. Я знаю: холостые янычары вместе ходят в бани, что находятся в Ени-Багче, около мечети Эски Али-паши. Если ты снимешь одежду и обнажишь руку, тебя изобличат.

— Что ж поделаешь, — уныло произнес Василий. — Чего посеял, то сам и пожинаю. Не больно и мила мне сия жизнь.

— О, дурень господен! — рассердился не на шутку Усман. — Носа не вешай, все идет так хорошо, как нельзя и лучше. А ты ропщешь! погоди, скоро жизнь станет тебе так мила, что и вспоминать не будешь о прежней, как и я не вспоминаю. Потерпи с недельку, и я не только тебя из казармы вызволю, а еще и добрым мусульманином сделаю! Есть у меня одно средство для этого!

Хитрый Усман возлагал, видимо, какие-то особые надежды на Василия, потому что он ежедневно приходил в казарму проводить Селима и опасался оставить его без личного присмотра даже среди янычар. Тем временем на женской половине в Усмановом доме царил необычайное волнение. Жены без умолку тараторили с утра до вечера, звали соседок и знакомых; хозяину приходилось даже обедать в кофейне, так велик был беспорядок в доме: здесь велись самые спешные приготовления к свадьбе! По зрелому размышлению, Усман затеял немедленно женить янычара Селима. Это был лучший способ избавиться сразу ото всех напастей. Женатым янычарам, исправно несшим службу, разрешалось жить в частных домах. На правах родственника Усман мог поместить Селима в дом жены и держать под бдительным присмотром, осуществляя неотступный контроль над заработком нового

родственника. Все три жены Усмана наперебой предлагали кандидаток в супруги «большому Селиму», но Усман отвергал невест одну за другой: жена Селима должна быть доверенным лицом самого Усмана! Наконец выбор его пал на юную сестру самой младшей из собственных жен. В этой восемнадцатилетней хорошенькой и злой девке сидел, как потом говаривал Василий Баранщиков, сам дьявол! Звали ее Айшедуда. Впоследствии Василий не любил вспоминать о ней!

В конце недели, проведенной Василием в казарме для холостых янычар, всем им предстояло отправиться в баню. Узнав об этом, Усман сделал небольшой подарок военачальнику Селима и упросил его отпустить молодого янычара домой по случаю свадьбы, показав составленный по всем правилам и скрепленный подписью кади (судьи) брачный контракт. Начальник отпустил Селима и позволил ему на будущее переселиться в дом тестя. Отцом Айшедуды был пожилой, довольно состоятельный турок Махмуд, трепетавший перед Усманом, потому что ловкий Усман успел с головой втянуть простоватого Махмуда в свои коммерческие дела, и с некоторых пор Махмуд оказался неплатным должником своего «покровителя».

Перед свадьбой невесту показали Селиму только в чадре: Усман не был склонен считаться с его мнением и вкусом. Селим не должен был проявлять никакой самостоятельности. Василий заметил лишь, что невеста стройна, нарядно одета и, по обычаю турецких женщин, ярко красит ногти в темно-красный цвет.

— Будто целый день мясо ногтями рвала! — с содроганием подумал Василий. Махмуд, будущий тесть, по лицу жениха сразу распознавший, что тот совсем не рад стать супругом Айшедуды, теперь потребовал от Усмана включить в брачный контракт условие: если Селим вздумает отказаться от жены, то он повинен уплатить полсотни пиастров отступных.

Дом Махмуда, отца Айшедуды, находился неподалеку от стенных ворот Ун Капан близ Старого моста через Золотой Рог. Сюда, к тестю, и переехал Селим после подписания брачного договора в домике кади, жившего во дворе мечети Ени Султан...

На другой же день после свадебного пира в доме Махмуда Василий ушел на свою янычарскую службу,

а по возвращении застал Айшедуду в обществе муллы Ибрагима. Оказалось, что жена Селима давала мулле подробнейший отчет о каждом шаге своего супруга. Теперь Усман мог реже наведываться к Селиму — присмотр за ним осуществлял и мулла, и тесть Махмуд, и сама Айшедуда, и даже домашняя прислуга. Под этим неусыпным бдением Василий Баранщиков должен был строжайшим образом соблюдать весь ритуал намазов, омовений и молитв. Он чувствовал себя в незримых цепях, которые давили, душили его.

Бежать? Нелегко при таком надзоре! Василий не мог шагу ступить свободно. Побег морем, снова на каком-нибудь чужеземном корабле, теперь был еще труднее, чем в Хайфе. Порт кишел шпионами, при малейшем подозрении Усман предал бы его турецким властям. Оставалось лишь выжидать счастливого случая и тем временем стараться усыпить бдительность своих надзирателей. Нужно было также исподволь откладывать себе денег на дорогу. Это тоже требовало времени, тем более что ничтожное янычарское жалование выдавалось нерегулярно, очень редко, обычно перед каким-либо важным событием или праздником.

Сама янычарская служба Василия была отнюдь не тяжела и мало обременительна. Такая служба могла с годами превратить человека в законченного лентяя и бездельника. За девять месяцев пребывания в янычарском войске Василию приходилось лишь нести караульные обязанности во дворце. Ни разу не брал он в руки ружья, не выстрелил из пистолета, не обнажил кинжала; никто не обучал его военному делу и не спрашивал с него каких-либо военных знаний. Только неотступный Ибрагим-мулла требовал от Василия твердого знания турецких молитв, говоря, что это сослужит ему большую службу и прибавит немало звонких пиастров. Как потом оказалось, мулла был прав!

Скука терзала Василия во время бесконечного стояния в дворцовом карауле, тоска преследовала его дома. Злую, жадную и хитрую Айшедуду он возненавидел, она платила ему тем же. Не раз она доносила на него мулле, и тот все более косо глядел на вновь обращенного. И лишь дворцовые события изредка разнообразили унылую и тоскливую жизнь на чужбине. Они были и забавными, и страшными.

Так, однажды пост Василия оказался рядом со столбом дворцовой ограды, на котором была еще с вечера вздета отрубленная голова анатолийского паши, казненного по приказу султана. Рядом с головой висела на дворцовой решетке доска с приговором.

Целый день эта отрубленная голова глядела на Василия незрячими глазами, глумясь насмешкой смерти над смущенным янычаром. Прилетали вороны клевать мертвечину, Василий с отвращением гнал их. Множество зевак толпились у решетки, тыча пальцами в сторону окровавленной, исклеванной, страшной головы. Василий Баранчиков не чаял, как избавиться от этого поста, и даже задумался о немедленном побеге, который, вероятно, кончился бы его гибелью.

Случалось ему видеть и торжественные дворцовые церемонии, вроде парадного выхода султана со свитой на богослужение в мечеть Айа-София. От дворца до мечети было не более полутора сажен, но шествие длилось свыше часа. По роскошной ковровой дороге, выстланной до самого храма, султан, сопровождаемый свитой, шел босыми ногами к мечети. Сто двадцать высших сановников свиты с макушки до пят были осыпаны драгоценностями и золотом. Видимо, приближенные султана забыли изречение: «Роскошь — это беда!» *

Дома, а часто и на службе, в свободные от караула часы, Василий, чтобы занять праздные руки и отогнать черные мысли, пристрастился к сапожному ремеслу. Он научился кроить и шить турецкую обувь лучше, чем турецкие мастера. За этим занятием никто не беспокоил его, он часами оставался один, обдумывая пла-

* Слова эти принадлежат турецкому феодалу и политическому деятелю XVII века Кочи бею Гемюрджинскому, автору трактата о причинах упадка Османской империи. Напомнив, что Османское государство «саблей добыто и лишь саблей может быть удержано», он обращается к высшим руководителям Османской Порты с предостерегающими словами: «Роскошь — это беда!» Роскошь султанского двора поражала даже французов. Так, по сведениям автора трактата, при султанине Мураде III (1574—1595) состав дворцовых слуг, получающих жалованье, включая янычаров охраны, равнялся 37 153 человекам, в том числе кухонной прислуги — 489, конюхов — 4357, гайдуков — 200, отведывальщиков пищи — 40, дверников — 356 (по числу дворцовых дверей) и т. д. В позднейшие времена, описываемые в повести, количество дворцовой прислуги еще более возросло.

ны бегства. Побег морем снова отдалил бы его от России, а посуху пуститься — без подмоги пропадешь! И дорогу надобно загодя выпросить, а у кого? Об этом и думал Василий, раскраивая цветной сафьян. Впрочем собственных денег у него не прибавилось: плату за туфли получал либо Махмуд, либо Айше-дуда. Они вначале дивились пристрастию янычара Селима к столь мирному и низменному труду, но зато быстро привыкли к новому источнику дохода!

Только раз за время дворцовой службы Василий воспрянул духом в надежде, что подвернулся случай для побега.

Однажды великому визирю тайно пожаловались портовые власти: иностранные суда перестали нанимать турецких лоцманов для проводки кораблей через пролив Дарданеллы. Знаменитый пролив был глубок и удобен, лоция его давно известна, чужие штурманы легко проводили большие суда без помощи турецких лоцманов. В проливе явно «не хватало» мелей и препятствий!

Когда великому визирю доложили жалобу турецких моряков, было решено затопить в проливе несколько старых судов. Начальник янычаров почтительно напомнил визирю, что среди дворцовых стражников есть бывший моряк Селим, который в данную минуту стоит на караульном посту у входа в Баби-Али, резиденцию великого визиря. Высокий сановник велел позвать янычара-моряка.

Представ перед высшим чиновником Блистательной Порты, Василий собрал все свое мужество, чтобы достойно встретить суровый приговор, ибо не сомневался, что стал жертвой доноса. Великий визирь узнал в вошедшем того новообращенного, которого недавно наградил и определил янычаром.

— Правда ли, что ты сведущ в морском деле, воин? — благожелательно спросил визирь. — Знаком ли тебе пролив Дарданеллы?

Василий приободрился. Какое-то дело, очевидно тайное, в Дарданеллах? Против кого оно? Уж не против... земляков ли? Василий знал, что на побережье Черного моря, в Анапе и других пунктах, турки срочно возводят против русских новые крепости, причем строят эти крепости французские инженеры. Неужто

и его хотят послать на подобное дело? Исход поручения легко предсказать! Либо он попадет к своим... либо на кол!

— Мы решили доверить тебе одно поручение государственной важности, воин Селим, — говорит великий визирь, любуясь волнением красавца-янычара и приписывая его тому впечатлению, которое сам производит на этого могучего воина. — Я велел позвать сюда и Джадида-ага, самого старого из морских лоцманов Стамбула. Он покажет тебе, Селим, наиболее узкое место в Дарданеллах, которое ты должен будешь сделать... еще уже и менее удобным для судоходства. Ты утопишь там два старых корабля, чтобы никто, кроме Джадида-ага, не знал, как обойти эти препятствия. Ступай с миром и доложи мне, что корабли гяуров не могут пройти Дарданеллами без услуг Джадида-ага.

На следующий день две гребные галеры под командованием воина Селима вывели из военной гавани Стамбула два старых фрегата, некогда захваченных у генуэзцев. Корабли еле держались на воде. На счастье обеих гребных галерных команд, ветер был попутным, северо-восточным, иначе тридцативесельным галерам было бы нелегко буксировать громоздкие старинные суда. Экспедиция только на третьи сутки добралась до мыса Чанаккале. Здесь старые фрегаты были поставлены на якоря: Бараншиков побоялся начать погружение фрегатов в свободном плавании, так как течение в этом узком месте пролива оказалось сильным и корабли могло снести к берегу.

Вместе с Джадидом-ага и капитанами обеих галер Василий в последний раз обошел внутренние помещения обреченных морских ветеранов. Оба капитана искали какой-нибудь поживы, Василий же просто хотел подольше оттянуть возвращение в Стамбул. Турецкие моряки с подобострастием относились к уполномоченному великого визиря!

Однако ветер мог перемениться и помешать операции, и Василий, покинув фрегаты, дал команду приступить к погружению. Матросы выбили щиты из заранее подготовленных в корпусе отверстий, и первый фрегат медленно погрузился в море. Уже уйдя в воду ниже ватерлинии, корабль лениво перевернулся набок

и чуть не накрыл сеткой своего ветхого рангоута одну из галер. Второй фрегат утопили безо всяких происшествий. Во всем этом предприятии было что-то грустное, гадкое и постыдное. На всякий случай Василий хорошо запомнил место погружения по очертаниям береговых скал. Теперь он сам сгодился бы в дарданелльские лоцманы и втайне надеялся, что это знание пригодится землякам.

По возвращении из этого морского похода «храбрый воин Селим» был награжден пятьюдесятью старинными мишлыками по шестьдесят пар*. Дворцовый казначей вручил их Селиму в собственные руки, и награжденный понадеялся утаить эти деньги от супруги и родственников.

Увы! Давая сдержанные ответы на расспросы домашних и упирая на секретный характер исполненного поручения, янычар Селим убедился, что дома все известно! Махмуд, Айшедуда и явившийся в гости Усман, перебивая друг друга, пересказали Селиму все подробности плавания, место погружения обоих судов и даже точную сумму полученного Селимом вознаграждения сверх жалованья.

Василий все же решил не сдаваться.

— Полученные деньги я оставляю у себя, — проговорил он независимым тоном, — дабы супруга моя Айшедуда не утруждала себя покупкой продуктов на базаре. Я сам намерен заботиться о покупках, и поэтому деньги, полученные в награду за государственные труды, я внесу в дом моего тестя в виде изобилия яств и питий для моей благословенной семьи и нашего благодетеля Усмана.

Переполох поднялся страшный! Айшедуда завизжала так пронзительно, будто в комнате завертелось сто несмазанных колес арбы. Тесть горестно качал крашеной бородой и, сквозь визг Айшедуды, что-то говорил о скупом и невоспитанном зяте. Усман держался за голову и громко охал по поводу неслыханной неблагодарности своего питомца и подопечного Селима. Василий терпел этот содом молча, но более пяти минут не выдержал. Развязав кошелек, он отдал тестю пятьдесят мишлыков. Махмуд тотчас же вы-

* Несколько более 30 рублей на русские деньги.

нужден был уступить львиную долю Усману, и шум затих.

Василий удалился к себе в каморку и принялся... строчить швы у заготовленных туфель. Больше он не пытался заводить в этом доме разговоры на тему хозяйственной экономии. Деньги на побег следовало искать иным способом.

Вот как сам Василий Баранщиков описывал темную полосу своей стамбульской жизни:

«Любовь к отечеству России, вера Христианская, внутреннее и наружное самого себя чувство, воспоминание жены и троих сирых детей в Нижнем Нове городе, к тому же еще и то, что принужденно он должен был исполнять магометов закон под строгим присмотром и наказанием, ежечасно приближающимся, так же и образ жизни и нравов Российских, несходных с Турецким, повергнули его наконец Баранщикова, в крайнюю печаль и смущение. Благочестие христианское твердило в совести его раскаяние, что он впал по несчастным своим приключениям в магометанскую веру» *.

Вдруг неожиданное происшествие чуть не погубило Селима. Ему вновь довелось изведать, как тогда говорили, непостоянство колеса Фортуны.

ПОБЕГ

Случай, едва не погубивший Василия Баранщикова, произошел незадолго до праздника байрама в конце рамазана, который на этот раз, по европейскому календарю, пришелся на июнь. Во дворце султана, где нес свою службу Селим, тщательно готовились к праздничным торжествам. Повсюду обновлялись или чистились драпировки, украшения, ковры, чинились и красились обветшалые части дворцовых зданий. Василий опасался этих работ, потому что прятал в укромном тайничке оба свои паспорта — единственный

* «Несчастные приключения», изд. III, 1793, стр. 64—65. Кстати, отрывок дает ясное представление о стиле и художественном уровне этой книжки.

предмет, о котором он ничего не сказал Усману и не показал никому в Стамбуле. Когда мешочек с паспортом стало слишком опасно держать во дворце, Василий решил перенести его домой. Со всевозможными предосторожностями спрятал он мешочек под порогом своей каморки, где занимался шитьем обуви и где никто за ним не прибирал.

Подсмотрела ли Айшедуда подозрительные манипуляции супруга у порога, почуяла ли какую-то перемену в настроении Василия после морской экспедиции, окрылившей его новыми надеждами, только одним несчастным утром, воротясь домой со службы, Селим увидел оба свои паспорта в руках Айшедуды. Когда он вошел, женщина метнулась к выходу.

— Стой! Куда? — закричал Василий и схватил ее за руку. — Отдай мне эти бумаги!

Вид у супруга был такой, что Айшедуда в первый раз испугалась его. Но она постаралась не показать испуга и принять обычный надменный тон. Это на сей раз было нелегко: Василий ухватил ее за руку и, видимо, не торопился отпустить!

— Отец! — запищала она жалким голосом. — Беги на помощь! Селим бьет меня! На помощь!

Тогда Василию пришлось применить силу, и документы упали на пол. Он подхватил их и запихал в карман. Тут в комнату вбежал Махмуд и замер в изумлении при виде непривычной картины: на коврике ревет Айшедуда, а над ней грозно возвышается великанская фигура Селима во всем янычарском облачении.

Тесть, увидев лицо зятя, струсил не на шутку и даже не попытался удерживать витязя, когда тот ступил за порог с тайной мыслью бежать тотчас же, пока документы не изъяты.

— Махмуд-ата! — завопила Айшедуда. — Не выпускай Селима из дому. Я видела у него крупные иностранные деньги!

Счастливая догадка озарила Василия. Он спасен! Турчанка приняла найденные бумаги за иностранные денежные купюры.

— Откуда у тебя эти деньги? — недоверчиво осведомился Махмуд. — Сколько же их у тебя и что ты намерен с ними делать?

— Я сберег свое матросское жалованье, потому что не пью вина и не мотаю деньги по ветру, — отвечал янычар. — А достал я их из-под пола, чтобы выменять на турецкие деньги у иностранных курьеров, которые приходят в Баби-Али, к визирю. Получу я за них не меньше двух сотен пиастров. И я хочу купить себе на них к байраму новое обмундирование и оружие. У нас будет смотр янычарам на празднике. Сам великий визирь примет наш парад. Я не желаю выглядеть на параде нищим... и не советую никому вмешиваться в мои дела!

— Слова твои мудры и вески, это речь зрелого мужа, и мне она отрадна! — забормотал Махмуд. — Встань, Айшедуда, не серди супруга столь громкими рыданиями. Когда же ты намерен обменять иностранные деньги на турецкие?

— При первой встрече с курьерами, во дворце или на улице в Пере, где живут чужеземные послы. А теперь — не мешайте мне раздеться и отдохнуть после службы!

Айшедуда, выйдя из комнатки, уже накинула было шаль, чтобы сбегать к Усману, но отец удержал ее на пороге.

— Не торопись, Айшедуда, — сказал он. — Усман все равно отберет у нас все деньги Селима в уплату долга. Пусть твой муж сперва принесет деньги домой и отдаст их мне, а я отдам ему свое старинное оружие из сундука. Такого нет ни у одного янычара во дворце, но ведь лежит оно уже много лет, может заржаветь и испортиться, деньги же всегда остаются... свежими! Если он отдаст мне все, что выручит за свои иностранные деньги, то есть двести пиастров, мы не останемся с тобой в накладе, хотя некогда оружие мое стоило дороже.

Через несколько дней после этого происшествия Селим был послан своим начальником на тот берег Золотого Рога, в Галату, где недалеко от Усманова жилища близ улицы Топхане помещались оружейные мастерские и воинские казармы. И на этот раз счастье улыбнулось Василию!

Не успел он выйти на просторную, застроенную вилами дипломатов Большую улицу Перы, столь памятную ему по первому дню своего пребывания в

Стамбуле, как из-за угла показался легкий возок, сопровождаемый двумя верховыми. Один из верховых придержал коня и о чем-то спросил прохожего разносчика фруктов. Янычар Селим только-только вознамерился узнать у конника, где тут проезжают иностранные курьеры, как вдруг услышал из возка русские слова:

— Ну, что ж ты, братец, под самый конец вдруг замешкался? Или дорогу забыл?

— Хотел грушами вас попотчевать, ваше благородие! — весело отвечал конник. — У нас в Киеве я еще таких не видывал!

Перед изумленным, обрадованным Василием оказались... земляки! Дипломатический русский курьер с охраной! Не помня себя от волнения, бросился Василий Баранщиков к запыленному возку:

— Ваше благородие, господин честной! Батюшка! Дозвольте слово молвить!

Молодое безусое лицо, почти мальчишеское, бритое, напудренное, но даже под слоем пудры веснушчатое, влажное от пота, обрамленное бровями седого парика... Кружевное смятое жабо не первой свежести, лорнет на шнурке, пропыленная шляпа... И пухлые губы, и вздернутый нос... Господи, молодой российский барин! С удивлением глядит на Селима. Еще бы не удивляться: турецкий янычар с каким-то ходатайством!

Запинаясь, путая слова, Баранщиков умоляющим тоном попросил разъяснить ему дорогу к российской границе: мол, через какие города турецкие, молдаванские и прочие ездят господа курьеры в Петербург либо в Москву-матушку.

— Да на что тебе сие, братец? — в недоумении спросил молодой курьер.

Василий стоял уже под окошечком возка и мог говорить тихо.

— Извольте-с объяснить мне дорогу домой, сударь, ибо за мною, возможно, наблюдают, и времени на разговор в обрез у меня и у вашего благородия... Заставьте бога православного за вас молить, ежели живым домой доберусь! Коли будет на то ваша милость... Сирот ради, что дома обретаются в нищете, пока отец их здесь в плену погибает...

Из глаз Баранщикова брызнули слезы. Оба верховых казака приблизились и слышали последние слова. Их тронуло горе чужого человека в янычарской одежде.

— Ваше благородие, — проговорил старший из них. — Дозвольте мне по-простому, по-мужицки ему растолковать. Видать, человек-то российских кровей... Дозвольте поясню...

— Да нет, Романыч, как же ты ему растолкуешь, бог с тобой! Он и не упомнит всего, да и ты наврать можешь... Нет, нет, от сего пользы не будет, надо по-другому!..

Молодой человек, видимо, понял ситуацию правильно. Он говорил торопливо, нервно покусывая губу и решая мысленно, как же вернее помочь голубоглазому янычару с матушки-Руси.

— Ты... грамоте разумеешь? — спросил он наконец у Василия.

— Обучен читать и писать, ваше благородие. Будьте милостивы, сударь.

— Вот! — произнес курьер не без стеснения. — Возьми и спрячь эту бумагу. Я на ней для своих надобностей весь свой путь нарисовал, от самого Киева, ибо следую сейчас оттуда... Как зовут тебя, братец?

— Василий, Яковлев сын, по фамилии Баранщиков, век буду за ваше здравие бога молить!

— Помоги тебе бог, братец, — растроганно проговорил курьер. — А тут вот, на, возьми немного денег российских, полтина серебром наберется. Издержался в дороге, более не могу... Да ты почему ж к послу российскому не обратишься? Булгаков, Яков Иванович, слышал? Или... не жалует тебя министр государынин?

— Эх, ваше благородие! Жалует царь, да не жалует псарь! С порога посольского дворецкий прогнал, даже слушать не стал, не то, что ваша милость!

— Что ж, земляк, счастливого тебе пути! Коли задуманное исполнить намерен по размышлении зрелом, даю тебе совет: не больно мешкай! Тучу видишь вон, над морем? Коли видишь тучу грозную, сам разумеешь, что дождя-грому не миновать! Не пришлось бы навещать тебе Якова-то Ивановича в... Семибашенном! Смекаешь?

— Вроде бы соображаю, ваше благородие! Спаси вас бог, сударь!

Дома Василий не рискнул сразу вынуть и рассмотреть драгоценную бумажку с маршрутом, потому что застал здесь Усмана и муллу Ибрагима-баба в оживленной беседе с Махмудом и Айшедудой. Громкие восклицания понеслись навстречу возвратившемуся домой янычару.

— Привет тебе, воитель Селим, да хранит тебя Аллах! Посмотри-ка, что приготовил тебе тесть к параду янычар на байраме. Ты будешь блистать как солнце!

И Василий был тут же опоясан отличным поясом, сверкающим подобно хвосту жар-птицы. К этому богатому поясу прицепили дамасской стали кинжал, оправленный жемчугом и яхонтами, а за пояс заткнули пару длинных пистолетов с колесцовыми замками, золотой насечкой и перламутровыми инкрустациями. В зеркале Василий увидел свое собственное изображение и вспомнил книжку сказок о старинных богатырях.

Мулла заставил своего подопечного прочитать вслух четыре мусульманские молитвы и даже подивился четкому чтению.

— Это тоже пригодится тебе на параде, сын мой, и будет высоко зачтено тебе! — предсказал он веско. — Твои успехи удивительны и быстры, ты уже замечен и отличен среди дворцовых янычар нашего султана, и начальники хвалят твое усердие. Но в душе моей нет полного покоя за твое благополучие, потому что пророк повелел правоверным не пренебрегать его благодетельными дарами и вкушать радости жизни после трудов и подвигов во славу Аллаха. Скажи мне, мой сын, почему ты равнодушен к священному праву мусульманина на высшие домашние радости? Почему ты до сих пор имеешь одну жену Айшедуду? Ей скучно в твоём доме без добрых подружек! На радость себе и ей ты должен будешь взять себе после рамазана еще одну жену в дом. Этим ты рассеешь сомнения в том, что ты еще не вполне тверд в законах шариата.

Баранщиков спокойно отвечал мулле:

— После того как великий визирь, мой покровитель, сделает смотр янычарам и окончится парад, мне будет вручено жалованье за девять месяцев службы. Тогда я расплачусь с моими благодетелями, Усманом-ата и Махмудом, и они, возможно, помогут мне, как добрые родственники, сыскать столь же добрую, как Айшедуда, вторую супругу!

— А видел ты нынче иностранного курьера... — начала было Айшедуда, но ее отец, Махмуд, сердито дернул дочь за рукав, и она прикусила язык. Усман взглянул на нее подозрительно, но ничего не спросил. Василий же снял свои новые доспехи и ушел к себе, будто бы дошивать очередную пару желтых турецких сапог. Время от времени он озирался на все стенные щели и осторожно разбирал рисунок на помятой бумаге, врученной ему несколько часов назад российским курьером.

Янычарский парад прошел для Селима удачно. Великий визирь остался доволен всеми янычарами дворцовой стражи, но особенно восхитил его бравый и великолепный вид воина Селима, заметно выделявшегося среди всей шеренги. Вызвав храброго воина перед строем, он приказал ему прочитать молитву и одобрил быстроту, с которой Селим вертел языком, отмолачивая текст угодной Аллаху молитвы. В присутствии великого визиря и янычара-аги, старшего начальника над всем янычарским войском, казначей вручил Селиму полную сумму его девятимесячного жалованья — шестьдесят гершей, или пиастров по сорок пар — двадцать четыре русских рубля.

Отправляясь на парад, разодетый Василий Баранщиков прихватил с собою и оба паспорта, сказавши своим подозрительным домочадцам, что на торжестве ему, возможно, представится самый удобный случай сговориться с кем-либо из иностранцев насчет обмена иностранных денег на турецкие. Айшедуда вознесла молитву Аллаху, чтобы Селиму удалось поскорее сговориться и получить деньги — ей не терпелось прибавить кое-что к своим собственным сбережениям. Ведь раньше, чем этот покорный дурень заведет себе новую жену, ей, Айшедуде, нужно побольше припрятать для



себя! С этими разумными мыслями почтенная турчанка ожидала прихода мужа с парада.

А что же супруг? Если бы Айшедуда с Махмудом и Усман с муллою смогли бы увидеть сейчас султанского янычара!

Ни одному из четырех попечителей Василия и в голову прийти не могло, что их подопечный отважится на рискованный побег прямо с военного праздника! На этом Василий и построил свой расчет!

Покинув дворец во всем своем роскошном одеянии, то и дело оправляя длинный кинжал на поясе и тяжелые пистолеты, бренча в кармане мощной с монетами, Василий... плыл на лодке в Скутари!

Перевозчик, пожилой худой турецкий рыбак, старался изо всех сил угодить важному пассажиру. Что-

бы развлечь его, рыбак рассказывал забавный анекдот, который любят повторять все стамбульские лодочники, про упрямого купца, возвращавшегося с царьградского базара. Купец заспорил с лодочником о цене за переправу, потому что цена в две пары показала ему слишком высокой. Отказавшись от перевоза, упрямый купец со всем имуществом отправился... вокруг Черного и Азовского морей из Стамбула в Скутари! Прошел он тысячи три километров, истратил тысячи пиастров, странствовал более двух лет, зато... сэкономил две пары за перевоз и всю жизнь этим гордился!..

Вот за тяжеловатой башней Леандра уже ясно виднеются минареты мечетей Скутари, или Ускюдара, как зовут его турки. На пристани Саладжак Скелези янычар Селим расплатился со своим разговорчивым перевозчиком и вручил ему две пары. Мимо монастыря дервишей и мечети Ихзание он дошел до знаменитого мусульманского кладбища, где находятся склепы многих жителей Стамбула, пожелавших найти вечный покой не в европейской, а в азиатской земле! Ибо так подобает настоящему правоверному мусульманину!

Обойдя огромное кладбище с его тенистыми деревьями, Василий углубился в тесный лабиринт армянских, греческих, болгарских домиков холмистого предместья. Кривой переулок приводит к неприметному домику... С его хозяином Василий некогда встретился всего раз в жизни, в те дни, когда еще таскал на спине тяжелые мешки в стамбульском порту и нанимался поденщиком к местным грекам. Хозяин домика велел звать себя братом Спиридоном и попусту не приходить, если это «святому делу без пользы». В чем заключалось «святое дело», Василий смекал, но с кем-либо болтать о том зарекся. Ему еще грек Христофор, кораблевладелец, сказывал: обо всем, что касается общего дела всех греков, живущих под игом султана, он, Василий Баранщиков, ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни на исповеди, ни на дыбе не должен слова проронить, иначе, мол, и себе беду наживет еще горшую, и других добрых христиан на плаху приведет целой толпой! И вот к таинственному брату

Спиридону, причастному к «святому делу» греков, и спешил сейчас Василий.

Брат Спиридон оказался дома. Увидев еще из оконца, что во дворик вошел дворцовый янычар в парадной форме, хозяин домика быстро шагнул из комнат в сени и спокойным, строгим голосом спросил, за какую надобностью явился столь неожиданный гость. Василий уже по дороге обдумал слова, которые должны были успокоить подозрительность грека и расположить его в пользу посетителя.

— Помоги, брат Спиридон, единоверцу. Прибегаю к твоей помощи, зане для вашего святого дела хоть малую пользу принести готов.

У грека сурово сдвинулись брови, лицо приняло выражение гнева и удивления.

— Кто ты таков и зачем ко мне явился? — спросил он грубо и резко. — Дела мне нет до вас и никакой пользы мне от тебя не надобно. Если обознался, так ступай подобру-поздорову дальше!

— Не гневайся, брат Спиридон! Не изволишь ли вспомнить меня, христофорова матроса Василия, что потом портовым грузчиком был и с тобою в греческом доме на Фанаре встречался? Я туда поденно работать приходил, припомнил, брат?

— Да, как будто узнаю теперь. Почему на тебе одежда янычарская? Небось мусульманином стал?

— Не гневись, батюшка, за тем и пришел... Помоги, родной! Дозволь у тебя переодеться, найди мне, батюшка, какую-нибудь нехитрую справу, а себе — вот это все и оставь!

— Да ты что, ума лишился? Тут одних камней драгоценных и золотого шитья сотни на две будет.

— Глаз у тебя, брат Спиридон, верный, как у гостя торгового. Определил ты цену всей этой справе правильно: две сотни пиастров за нее на базаре любой купец отдаст, не задумается. Так вот, возьми всю эту справу да на пользу вашему святому делу и обрати. А мне — достань тотчас сапоги простые, черные, да одежду греческую. Сколь сил моих хватит — столько я нынче верст должен между Стамбулом и собою оставить.

— Неужто решился, презрев опасность, в отечество свое воротиться?

— Истинно так, брат. Не только мучения презрев, но и самое смерть, если случится, что пойман буду!

— Ну, если так, да будет мир тебе под сим убогим кровом. Дар твой братский приемлю, ибо сделан от чистоты сердечной... Но только... в случае беды, сумеешь ли ты...

— Сумею ли смолчать, куда оружие дел? И в мыслях такого опасения не держи: помру — не выдам. Только мне, брат, уже пора переодеваться и идти, покуда погони за мной нету.

— Неверно мыслишь, друг! Беду так наживешь. Ночи темной у меня дождись, перед рассветом и выйдешь. Раздевайся, ложись спать до утра, а я покамест схожу проверю, не заметил ли кто из соседей, что сюда янычара занесло. Коли сие замечено было, то придется тебя в другой дом тихонько отвести, чтобы видели, как янычар от меня ушел.

Целый час грек не возвращался. Ждать было так томительно, что Василий уж и не рад был этой дружеской услуге. Воротившись, брат Спиридон сказал, что Василия никто не видел в этом дворике, но осторожности ради нужно все же дожждаться полной темноты. Повечеряв с гостем, грек предложил ему постель. Снимая с себя богатую турецкую одежду, красные сапоги, пояс и чалму, Василий сознавал ясно, что делает это в последний раз: носить ему теперь либо платье христианское, либо... надеть рубаху смертника перед казнью!

Ясное безоблачное утро петрова дня — 29 июня 1785 года застало Василия Баранщикова уже не в костюме янычара, а в скромной одежде греческого уличного торговца. Вместо широких бархатных шальвар и красных сапог — на ногах простые холщовые штаны, заправленные в черные сапоги яловой кожи. На плечах тонкий суконный кафтан. Бритую голову скрывал греческий колпак. Даже рост Василия словно бы уменьшился в этом неприметном наряде. Крепко обнявшись с братом Спиридоном, Василий перед рассветом вышел на улицу и встретил наступающее утро уже на берегу Босфора.

Перед ним красовался Стамбул. Величавый купол Айи-Софии четко обозначался на фоне легкого утреннего облака. Курились окрестные холмы и долины по

берегам Босфора. Сильная роса блестела на каждой травинке, на каждой веточке — день обещал быть жарким. Прозрачный пар поднимался и от воды Босфора, она казалась сейчас бесцветной, будто вылинявшей на летнем солнце. На пристани Ихзании Скелези Василий нанял лодку до Семибашенного замка, того самого, куда сажают государственных преступников и где султан держит в заключении послов тех стран, с которыми Турция вступает в войну. От пристани до замка — не близко, семь верст. И лодка нужна большая и крепкая, потому что высится Семибашенный замок не над Босфором, а уже над берегом Пропонтиды, как зовут греки Мраморное море.

Удивительная стояла тишина! Холодное серебро раннего утра медленно озаряло небосвод над Стамбулом. Из утренней дымки все явственнее вставали над зеленью садов очертания древних стен, шпили сотен минаретов, купола мечетей. Все они рдели в пламени разгорающейся зари... Так прощался с Царьградом Василий Баранщиков под мерные всплески весел турецкого лодочника.

Откуда-то сзади донесся меланхолический крик муэдзина:

— Аллах-ху-экбэр! Аллах-ху-экбэр!

Лодочник тотчас же бросил весла, разостлал на носу лодки свой дастархан и совершил намаз. Глядя на него, человек в греческой одежде, небрежно развываясь на лодочной корме, не без злорадства думал, что теперь призывы муэдзина можно пропустить мимо ушей. Призывы эти больше его не касаются!

Когда первый солнечный луч лег на водную ширь, справа медленно проплыл в синем небе купол Малой Айи-Софии. Еще через полчаса миновали древнюю башню Велизария, окруженную вековыми дубами, платанами и буками. Эта седая башня помнит еще времена византийского императора Юстиниана, чьим полководцем был Велизарий.

И вот, наконец, предместье Едикуле с Семибашенным замком! Василий Баранщиков, совершивший лишь вчера переправу из Европы в Азию, нынче вновь вступил из лодки на европейскую землю в Царьграде.

Улица Псаматия приводит его к воротам Едикуле в древней зубчатой стене, опоясывающей весь город.

В открытых воротах навстречу Василию попались два дьячка. Голоса их гулко прозвучали под каменным сводом привратной башни. Разминувшись с ними, Василий вышел из ворот и, не оглядываясь на «второй Рим», размеренно зашагал по знойной дороге.

СВАДЬБА В АГИОС СТЕФАНОС

Оставив за собой царьградские врата, Василий Баранщиков, переодетый в греческое платье, сам удивился, что не испытывает особенной боязни в столь опасных обстоятельствах. Им овладело чувство спокойной уверенности в себе. Снова он становился хозяином своей трудной судьбы, а не щепкой в водовороте событий. Исчезло у Василия и томящее сознание одиночества на чужбине — теперь ему как бы незримо сопутствовали друзья: Баранщиков про себя твердил имена и адреса, сообщенные ему на прощание братом Спиридоном. Первый адрес гласил: портовый поселок Агиос Стефанос, что на берегу Пропонтиды, дом старосты Панайота Зуриди. Напутствуя беглеца, брат Спиридон не велел записывать имена тех, у кого Василий мог искать приюта и помощи в дороге.

В дороге! Да, впереди опять дорога, и какая долгая! Невольно пришла на память старая сказка про то, как Иванушка за тридевять земель ходил свою Марью-царевну искать. Сколько их, чужих-то земель, простирается сейчас перед странником российским! Попробуй сочти! Земля турецкая и болгарская, валашская и молдавская, рекомые Румелией*, земля польская и украинская... Хребты Балканские и Карпатские, перевалы горные, тропы лесные, разбойничьи... А там, за горами, за долами, раскинулась отёческая земля, не видимая отселе даже орлиному оку!..

Беглец уже потерял из виду башни Стамбула. Сделалось жарко. На пыльных придорожных травах высохла роса, цикады зазвенели так, будто само знойное марево рождало этот немолчный, дрожащий в воздухе звук. Остатки тумана уходили из долин, превращаясь

* Румелия — прежнее название европейских владений Османской империи. Теперь Румелией иногда называют европейскую часть Турции.

в пушистые тучки; утренний бриз осторожно переносил их за гряду лесистых предгорий. Свежеумытое небо и тихое нынче море стали одинаково голубыми, как на венецианских эмалях, виденных Баранщиковым в соборе Святого Марка. Вершины кипарисов, врезанные в эту лазурную эмаль, казались не зелеными, а иссиня-черными.

Путник уже миновал одно селение — Бакыркёй. Встречных прохожих было немного. Тут, на побережье Мраморного моря, жители предпочитали водное сообщение. К их услугам имелись пристани и всевозможные легкие суда, парусные и гребные. Большие многоместные лодки назывались здесь «базар-каик» — они доставляли целые партии загородных жителей на стамбульские рынки.

Кстати, своих возможных преследователей Василий тоже заранее направил по ложному следу — в море! Он пустился на хитрость: за несколько дней до побега повстречался ему у Старого моста некий зажиточный турок, самый неисправный должник за сшитую обувь. Хотя этот заказчик владел просторным двухэтажным домом по соседству с жилищем Махмуда, он расплачивался с Селимом только обещаниями, изнашивая уже третью пару туфель, сшитую в кредит. При встрече с ним Василий будто невзначай обмолвился о своем намерении съездить после байрама на причал в Скутари, где, мол, ошвартовалось знакомое чужестранное судно.

— Зачем же почтенному Селиму, моему другу, понадобилось это судно? — удивился турок.

— Хочу получить с капитана небольшой должок, оставшийся за ним с тех пор, как я покинул это судно.

— Ты прав, достойный Селим! — согласился турок. — Не следует прощать неверному даже самого малого долга!.. Впрочем, я очень тороплюсь, друг Селим, да хранит тебя Аллах!

Василий был убежден, что турок не преминет передать Махмуду и Айшедуде содержание этой беседы, как только по округе распространится весть об исчезновении янычара Селима. Кто-нибудь, возможно, добавит, что после парада Селим брал лодку до Скутари. Получив такие сведения, Усман-ата обязательно добьется полицейского осмотра кораблей, покидающих

Скутари, и никто не догадается преследовать бывшего моряка здесь, на сухопутной дороге.

А дорога тем временем спустилась в небольшую ложину. Под горбатым каменным мостом шумела речка. Бегущие меж камней струи сверкали, словно от непрестанной игры серебряных рыбок в быстринах. Василий спустился по крутому откосу к воде передохнуть и напиться. Под широкой каменной аркой было сумеречно, свежо и гулко. Странник присел на камень и прикрыл глаза, утомленные слишком ярким солнечным светом. Прислушиваясь к стеклянному шороху и шелесту у ног, он было задремал, но тотчас же пробудился, различив дробный топот копыт наверху. Осторожно глянув наверх, он увидел на мосту маленький отряд конных янычар, идущий на рысях в сторону Агиос Стефанос, или по-турецки Ешилькёй, куда держал путь беглец.

Начальник отряда ехал поодаль, справа от воинов, и Василий сразу узнал его. Это был турецкий офицер Дели-Хасан, к которому начальник дворцовой стражи не раз посылал Селима с поручениями. Не погоня ли, несмотря на все меры предосторожности?

Нет, отряд, видимо, пустился не в погоню: конники громко между собой перекликались, обращая мало внимания на дорогу, и держали оружие в седельных тороках и за поясами, а не наготове.

Тем не менее Василий решил держаться осмотрительнее и при первой же возможности найти такого попутчика, в чьем обществе он сам не внушал бы подозрений. Лишь бы, для начала, добраться благополучно до стефанского старосты Панайота Зуриди! Он-то, по расчетам брата Спиридона, и должен помочь путнику надежно замаскироваться.

Дорога повела Василия вдоль побережья. Вскоре он увидел сады, виноградники и тутовые деревья, а в их тени — уютные греческие домики поселка Агиос Стефанос. Маленькая бухта с рыбацкими судами была еще скрыта береговым выступом.

— Не оставлен ли здесь дозор? — подумал беглец, окидывая взглядом дорогу. На самой дороге он не приметил ничего подозрительного, но в стороне, на небольшой плоской возвышенности, в сотне шагов от полосы прибоя, красовался всадник на белой лошади.

Чуть поодаль держали лошадей в поводу еще два спешенных всадника.

Что делать? Свернуть с дороги на горную тропку и этим лишь обратить на себя внимание? Хотя местность и холмистая, укрыться пешему от трех всадников невозможно, поймут сразу, если погонятся. Нет, нужно спокойно продолжать путь и пройти мимо кавалеристов. Но кто они?

Не меняя ровного размашистого шага, Василий приближался к площадке. Он уже разглядел, что всадник на белой лошади — не янычар (у замеченного отряда все кони были темных мастей). Видимо, это просто какой-то сановник или богач со своими конными слугами. Приехал сюда полюбоваться морем? О, теперь, когда из-за выступа прибрежного мыса показалась маленькая пристань, у Василия разом отлегло от сердца! Он понял, почему важный «ага» или «бей» торчал здесь поутру, верхом, у дороги! «Ага» отправлял в увеселительное плавание свой гарем и с коня любовался этой картиной.

По узкому дощатому трапу одна за другой перебежали на борт большой лодки пышно разряженные восточные женщины. Каждая, достигнув борта, притворно вскрикивала, будто испугавшись пережитой опасности, и, просеменив по палубе на корму, спешила занять место под красным бархатным балдахином. В отличие от простых «базар-каиков», суденышко было богато разукрашено.

За четырьмя дамами среднего возраста, в которых Баранщиков определил «жен первого ранга», на борт лодки, или, вернее, парусно-гребного ботика, взбежали шесть женщин помоложе, видимо, «второразрядных» жен, одалисок. Усевшись на корме, женщины принялись опрашивать свои шелковые наряды, браслеты, ожерелья и тюлевые шали, служившие им для укрытия лиц.

Затем под тенью балдахина нашлось местечко и для двух скромного вида, совсем юных рабынь или служанок с открытыми лицами. И, наконец, последней, по счету тринадцатой, в ботик взобралась отвратительная седая ведьма, домонадзирательница, или блюстительница нравов в гареме. Безо всяких церемоний она принялась раздавать направо и налево



пинки и тычки, внушая дамам, и молодым, и тем, что постарше, турецкие правила хорошего тона. Бедные затворницы притихли и даже не смели дать волю радости по случаю увеселительной поездки.

Всю эту сцену наблюдал сам супруг и повелитель, молча восседая на своем великолепном жеребце, покрытом серебристой попоной.

Старший из шестерки гребцов ботика, «каякчи-ата», закричал, сложив ладони рупором у рта:

— Все готово, сардар! Прикажи трогаться!

Повелитель сделал вялое, чуть заметное движение рукой и тут же отвернулся, подчеркивая всем своим видом, что столь ничтожный предмет, как лодка с тринадцатью женщинами, более недостоин его внимания. Ботик отвалил. На носу, в помощь гребцам, развернулся косой парус, и суденышко довольно быстро пошло в сторону Стамбула. По случаю байрама женщины ехали на прогулку в стамбульское предместье Эюб. Там, где узкий рог константинопольского залива глубоко врывается в сушу, находится знаменитая мечеть. В ней, при вступлении на престол нового сул-

тана, происходит церемония, которая соответствует коронации христианских монархов: султана опоясывают «саблей Османа» *, хранящейся в мечети Эюб. В огромных садах и парках, окружающих мечеть, по пятницам и праздничным дням отдыхает и развлекается турецкая знать. Туда, в «долину пресных вод», и направлялся ботик с женами сардара.

Василий Баранщиков поравнялся с группой на площадке, когда оба спутника сардара вскочили на коней, чтобы следовать за господином. Это были слуги и телохранители богача. Василий уже миновал всадников и на миг обернулся, чтобы мельком увидеть лицо важного турка. Тот выезжал на дорогу, не обращая никакого внимания на прохожего...

У беглеца чуть не подкосились ноги, когда он узнал это обрюзгшее злое лицо с колючей рыжей бородкой. Перед Баранщиковым был не кто иной, как... его старый хозяин, реис эффенди Али-Магомет-ага из Хайфы!

Жизнь Панайота Зуриди, старосты поселка, в последнее время стала тревожной. Над его маленькой семьей собралась гроза. Панайот еще надеялся отвести удар и все никак не решался рассказать правду жене и дочери. Именно ей-то, тринадцатилетней Зое, и грозила опасность. О редкой красоте этой девушки проведал, к несчастью, новый местный начальник Али-Магомет-ага, в прошлом, как говорили, адмиралтейский офицер. Сам капудан-паша ** прислал сюда, в приморский поселок, этого Али-Магомета на должность «забита», то есть воинского и полицейского начальника, ведающего и поборами в пользу адмиралтейства. Али-Магомет-ага успел удивить местных жителей своим богатством. Он купил лучший во всей округе чифлик *** с великолепной мызой, выстроенной каким-то иностранным дипломатом, содержал большой гарем и богатую конюшню, имел собственное легкое судно и каменный дом в самом Стамбуле, где большинство до-

* Основатель Османской империи и династии турецких султанов Осман I Гази (1258—1321).

** Капудан-паша — морской министр, глава адмиралтейства.

*** Чифлик — имение, поместье.

мов были деревянными. В новой должности забита этот богатч скоро стал грозой здешних «райев», то есть немусульманского населения.

На самых первых порах новый забит свирепо требовал от старосты имена недоимщиков и не желал слушать никаких объяснений. Потом Панайоту Зуриди как будто удалось умиловить чиновника подарками и приношениями от населения и этим спасти нескольких сограждан от долгового рабства. Вместе с тем Али-Магомет убедился, что скромная должность забита отнюдь не бесприбыльна. Это обстоятельство несколько смягчило его суровость, и, хотя поборы стали потяжелее, а порядки строже, чем при предыдущем начальнике, все-таки новый забит своевольничал над беззащитными греками в поселке уж не так рьяно, как в самом начале своего правления.

В конце рамазана, за несколько дней до мусульманского праздника, начальник велел кликнуть к нему Панайота Зуриди. Тот поплелся, полный недобрых предчувствий.

Однако, к удивлению Панайота Зуриди, Али-Магомет принял его весьма ласково и, мимоходом упомянув о недоимщиках, сразу же дал беседе другое направление. Он рассказал, что не доволен своими женами, скучает в их обществе, хочет половину прогнать назад, в родительские семьи, и освободить свое ложе для лучшей спутницы, более достойной делить с ним часы отдохновения от государственных забот.

— До меня дошли о тебе благие слухи! — говорил он вкрадчиво. — Ты, как я узнал, добрый отец семейства. Это отрадно слышать тому, кто готов доверить свое нежное, хоть и немолодое сердце, ласковым девичьим рукам.

Слова старого распутника усилили беспокойство Панайота. Он понял, что какой-то тайный недруг семьи распалил любопытство старого турка рассказами о Зое.

Помолчав, Али-Магомет недвусмысленно выразил намерение посетить в дни байрама жилище старосты.

— Хочу сам увидеть всю твою добрую семью, Панайот. Разрешаю тебе не делать слишком больших приготовлений к этой встрече. Я прибуду к тебе с малой свитой...

...Погруженный в тяжелую думу, Панайот Зуриди сидел в своей садовой беседке, ежечасно ожидая появления гонца с известием о высоком госте. Из беседки, густо заплетенной побегами винограда, Панайот видел пристань, ботик с гаремом забита и самого Али-Магомета на белой лошади.

«Он отправляет своих женщин в Эюб», — раздумывал староста. Вот они отчалили, а сам хозяин направился к кофейне. Там отдохнет и покурит до полудня, а тогда, по жаре, ему вряд ли захочется подниматься сюда, на горку. Вечером же, даст бог, его отвлекут вернувшиеся жены от мыслей о Зое. О господи! Хоть бы пронесло эту беду!

Увы, беду не пронесло! Но человек, который в тот миг постучался в заднюю калитку сада Зуриди, не был вестником сардара. Служанка привела незнакомца к беседке, где, погруженный в невеселое раздумье, сидел Панайот. Пришелец низко поклонился стефанскому старосте. Как только служанка ушла, гость произнес:

— Во имя отца и сына и святого духа — мир дому твоему, брат Панайот. Тебе шлет привет грек Спиридон из Скутари. Прошу твоей помощи, добрый человек.

— Кто ты?

— Твой гонимый собрат.

— Но ты не грек. Скажи свое имя.

— Я русский, по имени Василий. Бегу из турецкой неволи.

— Русский? Будь благословен твой приход! — И Панайот Зуриди бросился обнимать неожиданного гостя. — Твой народ, Василий, — наша надежда на свободу! С того дня, как российский флот был в греческих водах, ожила наша вера в будущее. Мы видели своими глазами, как поработители бежали от вас и тонули в море *. Мой дом — твой дом, брат, но не в добрый час ты оказался под моим кровом. Я жду плохого гостя — новый забит, Али-Магомет-ага, зарится на мою дочь Зою и должен нынче или завтра придти сюда.

* Имеется в виду битва при Чесме в 1770 году, под командованием А. Орлова.

Панайот Зуриди не успел досказать Василию Баранчикову о своем разговоре с турком, как в беседку весело вбежала из сада синеглазая девушка-подросток с двумя длинными каштановыми косами. Она никак не ожидала встретить чужого и удивленно остановилась посреди увитого виноградом шестигранника. Пока отец что-то шептал ей на ухо, она бросала на пришельца сочувственные взгляды через отцовское плечо.

А Василий так и застыл на месте, не в силах отвести глаз от юной красавицы. Такой она и запомнилась ему на всю жизнь, какой предстала перед ним в первый раз здесь, в затененной беседке: под черными крыльями бровей — темно-синие очи, что горные озера весной, задорные ямочки у смеющихся губ, формой напоминающих четко изогнутый лук, пестрая шаль, обернутая вокруг стана вместо пояса, и серебряная пряжка, перехватывающая складки платья на узеньком полудетском плече. По безмятежному выражению ее лица каждый догадался бы, что Зоя и не подозревает ни о какой опасности. Василий же сразу понял, что семья не напрасно тревожится за свою любимицу: о «нежном сердце» Али-Магомета слишком живо напоминали беглецу... его ступни!

В доме Зуриди прислуги было мало, и Панайот доверял своим домочадцам. Он повел российского странника в дом и усадил в гостиной как дорогого гостя. Василий рассказал греку, что некогда сам был захвачен в плен головорезами Али-Магомета и что нынешний забит — в прошлом не офицер адмиралтейства, а морской разбойник, командир пиратской галеры. Василий припомнил, что там, на Леванте, Али-Магомет враждовал с султанским пашой в Хайфе. Вероятно, эта вражда побудила Али-Магомета покинуть Хайфу и переселиться в Стамбул, где он нашел покровительство у капудана-паши.

— Значит, и тебе, друг Василий, нельзя попадаться на глаза этому разбойнику, — сказал хозяин дома. — Если он явится сюда — ступай на кухню, там обедают батраки. Их пятеро, среди них ты будешь незаметен. Потом посоветуемся с отцом Иоанном, священником здешней часовни, как тебе быть дальше. Есть у меня на примете и еще один надежный человек, тоже зем-

ляк твой, купец из России. Нужно бы и с ним совет держать, да редкий он у нас гость, всегда в дальних разъездах. Скоро обещался быть.

— Небось из стамбульских гостинодворцев? — осведомился Василий с беспокойством.

— Сего не ведаю. Знаешь, брат Василий, — вздохнул грек, — может быть, придется тебе уйти отсюда не одному: коли иного выхода не найдется, переоденем дочь и отправим с тобой тайком до Силиврии. Там живет жених ее, Константин Варгас, моряк, сын старосты рыбацкой артели... Эх, друг, никак на дороге всадник? Ну, Василий, поторопись к батракам, а мы с женой встретим желанного гостя!

— Селям алейкум, Панайот Зуриди! — заорал конный гонец, добравшись по извилистой дороге до середины холма с домом Зуриди. — Ожидай через час прибытия к тебе самого сардара! Иншаллах! За такую добрую весть гонцу полагается награда! Отвори окно, хозяин, и покажи, насколько ты обрадован!

Панайот швырнул гонцу монету прямо из окна. Она описала дугу над изгородью и придорожными кустиками и упала к ногам лошади. Гонец ухитрился поднять ее, не слезая с седла, гикнул и поскакал вниз, безжалостно шпоря коня.

Хозяину пришлось теперь посвятить жену в свои дела с сардаром. Анастасия Зуриди молча перекрестилась и пошла на кухню позаботиться об угощении. На кухне она поклонилась русскому страннику — дочь уже предупредила ее о присутствии в доме Василия.

Тем временем в кофейне Али-Магомет предавался кейфу на узорчатом ковре, в тени широколиственного платана, среди таких же важных пожилых османов, как и он сам. Услужливый «каведжи», хозяин кофейни, знал, как угодить своим почтенным гостям, не нарушая их сладкой истомы. Прикрыв глаза, Али-Магомет с наслаждением курил длинную трубку, отгоняя сон редкими глотками горячего черного кофе. Дуновение морского ветра касалось его чела. Ровный шорох прибоя ласкал слух. Выкуренные трубки и пустые чашечки бесшумно заменялись полными. Он размышлял, часы текли... на востоке не любят спешить!

Мысли Али-Магомета были дальновидны, отрадны и благовонны, как аромат розового сада. Он пускал дым колечками и мечтал о сладости мести... В каждом колечке дыма ему грезилась отрубленная голова недруга, левантинского паши, того, что отнял у Али-Магомета часть имущества и дом-дворец в Хайфе. Чтобы отомстить сильному врагу, нужна дружба с «господином морей», капуданом-пашой, а эту дружбу надо подогревать подарками. Одному из самых влиятельных адмиралтейских вельмож Али-Магомет недавно подарил изумительную девушку-рабыню, французенку с марсельского судна, последнего приза Али-Магомета. Капудан-паша узнал об этом подарке. Значит, нужно быстро найти еще лучшую красавицу для самого капудана-паши, а то еще позавидует и обидится! Он, Али-Магомет, уже поручил одному хитрому гяуру за любые деньги найти, купить, украсть подходящую рабыню... Кстати, надо не забыть взглянуть и на дочку этого здешнего старосты. О ней шепнул тот же гяур... Староста не продаст своей дочери, значит, если девчонка на что-нибудь годна, нужно отнять ее под видом женитьбы, а там видно будет... И если все произойдет так, как предначертано, и подарок будет принят милостиво, капудан-паша облечет своего друга полномочиями, может быть тайными... Снаряжена экспедиция — три, четыре корабля... Недруг низложен, схвачен, вот он — в руках Али-Магомета! И Али-Магомет живьем сдирает с него кожу...

Еще затяжка дымом, еще глоток кофе... Сладостные видения исчезают, Али-Магомет приподнимается на ковре, распрямляет затекшие ноги и хлопает в ладоши:

— Послать гонца к дому грека Зуриди! Сказать ему: мы едем!

...Высокий гость прибыл не верхом, не в карете (даже в Стамбуле они были редкостью!), а восседая на подушках носилок. Они плавно покачивались на плечах рабов-берберийцев. Шестеро атлетов пронесли носилки сквозь запахнутые ворота и опустили на землю перед крыльцом. Здесь гостя встретили хозяева дома, супруги Зуриди.

Выбравшись из носилок, Али-Магомет сперва пожелал осмотреть прилегающую к дому часть сада. Он неторопливо шествовал по дорожкам и внимательно осматривал ряды фруктовых деревьев. О, его собственные сады содержались далеко не так образцово, как этот! Здесь по-настоящему заботились о саде, любили его, там — безрадостно трудились подневольные руки. Али-Магомет похвалил и абрикосовые, и персиковые, и сливовые деревья, долго осматривал на южном склоне виноградник, пощупал руками зреющие кисти и даже заглянул в подвалы.

Наконец, оставив своих телохранителей во дворе, Али-Магомет, сопровождаемый хозяином, проследовал в комнаты. В гостиной, увешанной коврами, Анастасия Зуриди с поклоном поднесла гостю бокал отлично приготовленного шербета. Но Али-Магомет не взял с подноса бокал. Хитро подмигнув хозяину, гость погрозил ему пальцем и заявил, что примет напиток только из рук наследницы дома.

Делать было нечего. Анастасия отправилась в горницу за дочерью.

Притихшая Зоя почувствовала родительскую тревогу еще во время приготовлений к приему забита и сидела теперь в уголке, понурившись над своим девичьим рукоделием.

Мать набожно перекрестила дочку, и Зоя, натянув темный платок на самые брови, дрожащими руками взяла поднос. Опустив глаза, она поднесла бокал турецкому гостю.

Но как она ни прятала лицо, как ни был скромнен ее наряд, восхищение старого работорговца не имело границ. Шербет он не пил, а слизывал по капельке с краешка бокала, не отводя взгляда от девушки, державшей поднос. Он снял с пальца перстень и тут же отдал отцу девушки в знак особого расположения. А для самой Зои он не поскупился на похвалы, изысканные и цветистые, в лучшем восточном вкусе. Он сравнил девушку с утренней зарей, благоуханной розой, лунным лучом на воде, назвал ее и лилией долины, и розовой жемчужиной его души, и гурией эдема, и сияющим лучом бриллианта.

Наконец, когда иссяк этот фонтан любовного красноречия, Зоя смогла тихонько ускользнуть из гос-

тиной и скрыться в своей горнице. Оставшись наедине с отцом Зои, Али-Магомет тут же категорически заявил, что берет девушку себе в жены и намерен вызвать кади еще на этой неделе, чтобы к следующей пятнице Зоя перешла бы в дом супруга.

Напрасно отец ссылался на юность Зои, на различие вероисповеданий. Турок был непреклонен и уже начал хмуриться.

— Слова твои неразумны, старик! — проговорил он холодно («старик» был на десяток лет моложе самого Али-Магомета). — Греки нередко выдают замуж дочерей и в десять, и в одиннадцать лет, а твоей дочери не меньше двенадцати. Насчет же моей и ее веры — не тревожься! Наш пророк позволил правоверным брать в жены и христианок, и евреек, только к идолопоклонницам запрещено прикасаться магометанину. Вот когда Зоя родит мне детей, то они станут мусульманами, это правда, но уж таков обычай. Ты же должен радоваться чести, тебе оказанной. И помни: тот, кто вздумал бы противиться моей воле — заранее обречен. Его собственная мать пожалела бы, что не вытравила его из чрева. Предупреди дочь об ожидающем ее счастье и никуда не выпускай со двора до той самой минуты, когда я поведу ее к кади. За послушание ты ответишь мне головами всей твоей семьи. Теперь прощай, и да пребудет над тобой милость Аллаха!

Мать из-за двери слышала все. И как только носилки с турком уплыли за ворота, верная служанка бегом бросилась к домику священника. Подождав до темноты, семидесятилетний отец Иоанн, кряхтя, отправился в дом Зуриди.

Этого отца Иоанна, старика умного и хитрого, уважали даже турки. Суеверные, невежественные мусульманские женщины, а нередко и их мужья, потихоньку обращались к попу Иоанну за лекарствами и советами, а то и прямо просили его: «Помолись, ата, своему богу Иссе, чтобы он умилиствовал нашего Аллу!» Среди турецкого населения казы* поп Иоанн слыл лекарем и прорицателем, что, кстати, отнюдь не вредило его доходу.

* Каза соответствовала российскому уезду.

Панайот рассказал старику все, не забыв и про Василия-беглеца. Отец Иоанн ахнул и руками развел:

— Ох, пресвятая богородица, вот уж не было печали! Маловато, знать, было у тебя забот, Панайот, что разом еще две заботушки прибавились!.. Ну, что же, господь не без милости! О рабе божием Василии-беглеце речь пойдет впереди, ему, яко брату нашему во Христе, надо помочь в дорогу снарядиться, но это — дело не больно хитрое. А вот что с твоей Зоюшкой делать — ума не приложу! Плохо дело, сын мой Панайот! Уж если эдакий срамник окающийся затеет добрую девицу в гарем свой, в наложницы утащить — хоть ты ему руки руби — не отступится. Еще и жениться обещал, пес проклятый, небось на двадцатой! На чем же ты порешил, Панайот, а?

— Да вот, отец Иоанн, сидим, думаем-гадаем, что делать. Видимо, придется девицу нашу потихоньку из дому спровадить в Силиврию да там тайком с Константином, женихом ее, и обвенчать. О том тебя и просим, отче! Порешили мы с женой так: наша жизнь прожита, пусть хоть молодые порадуются, поживут; да, может, еще пронесет и над нами грозу-то?

— И не помышляйте! Коли своих голов не жаль — о собратях подумайте. Весь поселок погубите, грех на душу великий примете. Нет, коли ты как христианин не хочешь дочь греху предать, то обвенчать ее придется только с... единым господом нашим.

— В монастырь Зоюшку постричь? Опомнись, отче!

— Сие бесполезно, не пустит ее злодей, из рук у вас вырвет. Нет, бедный Панайот, монастырь — не спасение для Зоиной души! Ведите меня к ней, в светелку, хочу поговорить с вашей дочерью, узнать, твердо ли она духом...

Целый час беседовал старик наедине с девушкой. Воротясь к потрясенным родителям, старый поп сказал им:

— Дочь вашу, Зоей, можете гордиться. Духом непоколебима, несмотря на юные ее годы! Решение ее твердо — позора избежать. Задумали мы с нею тяжкое испытание ее силам, но иного выхода нет. Благословите дочь на подвиг, как я ее благословил. Коли духовная моя дочь решилась на такое, то я, пастырь смиренный, помогу ей. Душу она в чистоте сохранит,

греха мерзкого избежит, и все же будет у нее малая надежда остаться в живых и счастье земное еще познать. На великую опасность идет Зоя!

— Что ты, доченька, задумала? — в ужасе бросилась мать к девушке, но старик осторожно отстранил Анастасию от дочери и попросил обоих родителей пока ни о чем Зою не расспрашивать, никого в тайну не посвящать, а по всем соседям распространить слух, что Зоя тяжело занемогла и слегла. Если кто явится проведать — близко к больной не подпускать, чтобы видели ее только в постели, изможденной и бледной.

— Завтра в обед, — добавил отец Иоанн, — пусть Панайот сходит к срамнику Али-Магомету и расскажет ему, что дочь от волнения слегла. Мол, очень потрясена его величием, оружием и богатством. Все, что он скажет, — мне сразу же передайте. Будем дальше думать, как быть. А Василию-беглецу покамест среди батраков не выделяться, никуда не ходить, делать в доме ту же работу, что все батраки делают. Храни вас бог, дети мои! Вечерняя заря — серебро, утренняя — золото!

В глинобитном здании канцелярии сам начальник занимал две просторные задние комнаты, затененные деревьями маленького садика. В дальней комнате этого присутственного места забит пребывал в служебные часы, восседаая на подушке, брошенной посреди ковра. Низкий столик перед ковром служил забиту для раскладывания служебных бумаг. Во второй, ближней к входу комнате, начальник принимал посетителей. Там сидел писец. В остальных комнатах канцелярии всегда толпились заптии *, просители, мелкие чиновники; сюда же приводили людей, которых заптии находили почему-либо подозрительными и задерживали на дороге, на пристани или на базаре.

Старосту поселка, Панайота Зуриди, начальник обычно принимал у себя, в задней комнате. Так было и на этот раз. Выслушав взволнованные слова Панайота о болезни дочери, Али-Магомет сидел на своей подушке молча, недоверчивый, раздосадованный, озада-

* Заптия — полицейский.

ченный. Что это? Непредвиденная уловка «райев» или настоящая болезнь? Какая досадная помеха так хорошо задуманному плану...

В молчании прошло несколько минут. Наконец Али-Магомет, крикнув, нарушил тишину:

— И ты, гм, гм, говоришь, что она заболела от волнения? Вчера она была здорова, как серна в горах. Зачем же ты так напугал свою дочь, Панайот Зуриди? Ты же мог вчера слышать, как умело я вел с ней беседу? Брал бы пример!.. Меня никогда не боялись женщины. Очевидно, ее взволновала оказанная ей честь...

— И твое величие, блеск твоего оружия и имени, сардар! — поспешил добавить староста.

— Да, возможно, возможно! — согласился Али-Магомет. — Так, когда же она, по-твоему, может поправиться? Я страдаю от любви к ней! — добавил он как бы в задумчивости.

— Бакалум, сардар *! — на турецкий лад отвечал староста.

— Керим Аллах **! Но, послушай, старик: может быть, она не понимает, что ее ждет высокая судьба? Может, она сомневается, что я возьму ее в жены, и боится остаться простой рабыней, наложницей? Скажи, она верит в свой счастливый жребий?

— Она... еще боится верить в него, сардар.

— Успокой ее. Твою дочь ждет почетное ложе, и судьба ее поистине будет высокой, слышишь? Зою ждет богатство, скажи ей. А лечить ее я пришлю знаменитого эмира ***, знахаря из санджака Чаталджи. Он будет у тебя не позднее завтрашнего дня. Когда он вылечит ее, я озолочу его. Ступай, успокой и обрадуй мою будущую супругу.

Поп Иоанн нахмурился, узнав, что Али-Магомет обещал прислать лекаря-эмира.

* Бакалум — устойчивое выражение у турок, вроде «поживем — увидим».

** Керим Аллах — бог милостив.

*** Обедневшие потомки княжеских родов, эмиров, считались наделенными чудодейственной силой. Они знахарствовали у мечетей.

— Он чует обман и хочет проверить, серьезна ли болезнь. Натрите Зое лицо лимонным соком, держите лук у ее глаз, чтобы они распухли. Если не сумеете обмануть знахаря — все пропало, и Зое останется только наложить на себя руки.

Родители выполнили этот совет, и, когда щуплый старый турок в огромной чалме и широком халате прибыл во двор, приготовления были закончены. Знахарь слез с ишака и с важностью направился прямо в светелку девушки.

В светелке резко пахло камфарой и ладаном, теплилась свечка перед иконой и в углу дремал греческий поп в рясе. Эмира так и передернуло от негодования и отвращения.

Очень недовольный присутствием «муллы неверных», знахарь сперва потребовал, чтобы мать показала на себе, в какой части тела гнездится болезнь страдальцы. Анастасия подняла палец к собственному лбу, показывая, что пристанище болезни — голова дочери.

Знахарь понимающе кивнул и подошел к ложу больной. Он гадливо коснулся холодной руки, лежавшей поверх одеяла, и мельком глянул на болезненно желтое лицо с закрытыми опухшими глазами.

— Какого уroda выбрал себе глупый забит! — подумал знахарь. — Поистине мужская страсть слепа и неразборчива!

Двумя пальцами правой руки знахарь притронулся ко лбу больной, прошептал заклинание и стал медленно водить пальцами от переносицы к вискам. Закончив этим таинство врачевания, лекарь небрежно опустил в бездонный карман золотую монету, врученную ему Панайотом, и проследовал во двор.

— Как ты думаешь, есть ли надежда? — по-турецки спросил его Панайот.

— Бакалум! — пожал плечами знахарь, сел на своего ишака и отправился прямо к Али-Магомету.

...Старик писец Сулейман из приемной забита слышал весь доклад лекаря-эмира. Писец давно знал Панайота, благоволил к нему, и, когда тот появился под окнами канцелярии, турок поманил его к себе.

— Ах, ах, какое горе постигло твой дом, Панайот Зуриди! Эмир только что сказал забиту, что дочь твоя

Зоя обязательно умрет, хотя он сделал все для ее выздоровления.

— Да, добрый человек, эмир и мне открыл, что нет никакой надежды! — вздохнул староста. — Он говорит, что дочь моя не доживет и до конца недели.

— Иншаллах! — согласился добрый турок, — что же поделаешь, Панайот, как говорится:

«буюн бана иссе,
ярын сана дыр!» *

Явившись с этими вестями домой, Панайот даже подивился, как они обрадовали попа Иоанна.

На следующее утро весь поселок услышал о кончине дочери старосты, прекрасной Зои. Многих опечалила весть о безвременной смерти юной красавицы. Когда слух дошел до канцелярии забита, Али-Магомет с досады закрыл присутствие и велел подать себе коня, чтобы уехать домой. Он не пожелал видеть печальную процессию, которая должна была проследовать под окнами канцелярии: греки хоронили своих покойников обязательно в самый день смерти; к вечеру их несли отпевать в часовню, а земле предавали в темноте ночи.

Телохранитель, поддерживавший стремя, осторожно ввел в него носок мягкого сафьянового сапожка, а затем пособил Али-Магомету поднять в седло грузное тело.

Хмурясь и не глядя по сторонам, покачивался в мягком покойном седле Али-Магомет, сопровождаемый на почтительном расстоянии двумя конными слугами. Вдруг один из них прищпорил коня — и догнал своего господина. Тот сердито взглянул на дерзкого, осмелившегося нарушить раздумье властелина. Слуга же указал рукоятью плети на море. К причалу приближалась шлюпка с тремя иностранными матросами-гребцами. Али-Магомет разглядел название корабля «Валетта», обозначенное на носу шлюпки, и чело его прояснилось. Он заметил, что на корме примостилась

* Выражение, часто повторяющееся на турецких надгробиях; означает примерно: сегодня — я, а завтра — ты.

маленькая фигурка, с ног до головы укутанная в белую одежду, похожую на арабский бурнус.

— Скачи на пристань, — приказал Али-Магомет слуге. — Пусть все, кто прибыл на шлюпке, направляются прямо ко мне в канцелярию. Никого к ним не допускать, кроме моего личного писца и... Метью Глена. Сказать, что сам я прибуду позднее. Поспеши!

Сопровождаемый вторым слугою, Али-Магомет свернул с тропы на проезжую дорогу и галопом поскакал в сторону Стамбула. Вскоре он придержал разгоряченного коня, отдал поводья слуге и вошел в кофейню села Бақыркёй. Каведжи Ахмет быстро провел гостя в особую потайную комнату. Здесь, в нетерпеливом ожидании, прохаживался человек в дорожной одежде — доверенное лицо Али-Магомета, снискавшее за сравнительно недолгое знакомство, всего за несколько месяцев, полное расположение сардара. Это был тот самый гяур, которому Али-Магомет доверил свое деликатное поручение — подыскать подарок, достойный капудана-паши. Он же обратил внимание сардара на злополучную дочь стефанского старосты.

— Селям алейкум, эффенди! — радостно приветствовал этот человек Али-Магомета. — Рад сообщить тебе, друг, что просьбу твою выполнил! Привез такой цветок, что твой высокий покровитель будет доволен! Чудесный цветок, итальянский... Изумительная девушка, клянусь нашей дружбой! Я отправил ее к тебе на шлюпке, видел? Хороша?

Турок не выразил ничем своего удовольствия. Ему претила суетливость и фамильярность европейца. Он молча кивнул, показывая, что принял к сведению сообщение своего поставщика.

— Я вижу, Али-Магомет, — заговорил тот другим тоном, — что ты не особенно рад моим стараниям? Значит, у тебя пошло на лад дело с дочкой стефанского старосты? Смотри не прогадай!.. Впрочем, сардар, что ж, ты не единственный, кому нужен наш товар. Я сегодня же отправлю девушку назад, в Стамбул, на борт нашего корабля. Эта девушка, друг, не обычный ходовой товар с ясыр-безестена, прошедший десяток рук! Ради нашей дружбы я привез показать тебе луч-

шее, что досталось нам за все последнее время, потому что считал тебя знатоком и ценителем. Ведь девушка находится у нас на борту «Валетты» всего несколько дней!.. Но мне нет нужды упрашивать тебя, Али-Магомет. Не вернуть ли тебе задаток? Я готов. Вот, возьми обратно свою тысячу дукатов, а я отправлю итальянку на корабль.

Али-Магомет встревожился. Какие они суетливые, эти гяуры! Разумеется, он желает посмотреть «цветок» и приобрести его по сходной цене, но хвастовство гяура его сердит. Эх, если бы эта гречанка Зоя осталась в живых! Тогда гяуру не пришлось бы так заноситься и диктовать условия. Сколько он запросит за молодую пленницу? О, этот гяур не упустит случая нагреть себе руки. Хватка у него железная.

— Твоя рабыня уже у меня в канцелярии, — говорит он с холодным достоинством поставщику. — Я еще не имел времени осмотреть твою красавицу. Может быть, и подойдет мне. Но кто она такая? Не сыщутся ли у нее в Стамбуле родственники или, чего доброго, владельцы? Если ты опозоришь меня перед высоким лицом, которому я предназначаю в подарок эту рабыню, не жди спасения: моя рука настигнет тебя и под землей!

— Да будь твой покровитель — сам султан, он и то останется доволен. Родители этой юной красавицы — на дне морском. Увеселительная яхта какого-то итальянца со всем экипажем и пассажирами при шторме разбилась на рифах здесь, в Эгейском архипелаге. Спасено нами всего несколько человек, в том числе и она, дочка владельца. До сих пор еще она считает нашего капитана героем-избавителем, ха-ха-ха... Бедняжка раздала свои колечки и сережки матросам, которые вытащили ее из воды. Ни золота, ни камешков, ни даже платьев при ней не осталось, но главное ее богатство — красота и юность — достанется тебе, как лучшему моему другу и надежному клиенту.

— Бакалум! Посмотрим! — сказал требовательный заказчик и, постучав в стенку, вызвал каведжи. — Коня! — крикнул он повелительно, а затем, снова обращаясь к своему агенту, понизил голос до шепота:

— У кого из греков ты остановишься сегодня?

- Думаю, как всегда, у Зуриди.
- Гм, нынче там печаль... Она... умерла, эта девушка...
- Что? Умерла Зоя Зуриди? Как это могло случиться?
- Думаю, что ты мог бы и сам догадаться!
- Ах, так... Значит, ты посватал ее, и...
- Она не выдержала радостного волнения... Ты еще можешь поспеть на похороны. Но, может быть, тебе лучше... не ходить туда?
- Нет, почему же, ведь никто не знает о моей дружбе с тобой. Греки верят мне, я знаю уже некоторые их секреты. Впрочем, об этом — в следующий раз, потом.
- Нет, ты должен сейчас же открыть мне их секреты. Я — забит!
- Это связано с расходами...
- Ты будешь щедро вознагражден. В какие тайны тебе уже удалось проникнуть?
- Мне намекал кое-кто, будто в поселке изредка бывает один человек. Это моряк из Силиврии.
- Но... чем он... опасен, этот моряк?
- У него есть друзья в горах.
- Что? Клефты? *
- По-видимому, да. И еще: говорят, что у Зуриди был взрослый сын, Николо, который однажды ушел с этим моряком и не вернулся.
- Он утонул. Я тоже что-то слышал об этом.
- А вот утонул ли, это нужно еще проверить. Потому что мертвые не присылают приветов, а старый Зуриди недавно получил тайный привет издалека, от какого-то Николо... Все это надобно распутать...
- Гм, гм... Это немаловажные тайны. Если сношения греков с врагами султана, да почиет на нем милость Аллаха, подтвердятся, ты получишь большую награду. Главных виновников я обезглавлю, а их пособников дешево отдам тебе в рабство... Ночью, как всегда, тихонько проберись ко мне в дом. Мы окончательно сторгуемся. Алейкюм селям!

* Клефты — греческие партизаны, действовавшие в северных горных районах страны против турецких поработителей одновременно с другими партизанскими группами — болгарскими гайдуками и юнаками.

Поп Иоанн плотно прикрыл за собою дверь, войдя в Зоину светелку следом за Панайотом Зуриди. Зоя недвижно лежала на столе, уже обряженная в белую смертную одежду. В светелке находилась при дочери одна Анастасия, сразу постаревшая от горестного волнения и страха. Она приникла головой к краю стола, у Зоиных ног, и, кажется, сама уже считала свою дочь мертвой.

— Пора, дети мои! — проговорил отец Иоанн. — Народ собирается... Нужно приготовить сонный напиток. Панайот, подай мне вино. Зоя, возлюбленная дочь моя во Христе, готова ли ты испить чашу?

Лежащая на столе пошевелилась и приоткрыла глаза. Раздался шепот:

— Я готова, батюшка. Благословите меня.

Священник высыпал в чашу сильный снотворный порошок, добытый у аптекаря. Отец Иоанн посвятил этого аптекаря в тайну, и тот обещал, что действие порошка продлится часов восемь или десять, но за успех не ручался — доза была столь большой, что сон мог стать и вечным... Размешав порошок в вине, старик перекрестил чашу и поднес к губам девушки. Она осушила чашу разом и снова откинулась на плоскую подушечку. Отец и мать поцеловали ее в лоб, сложили руки на груди. Вскоре она перестала отвечать на вопросы. Тело ее потеряло чувствительность. Биение сердца стало почти неразличимо, и зеркало, поднесенное к губам, мутнело столь слабо, что непосвященный ни о чем бы не догадался. Девушка была искусственно погружена в глубокий, почти летаргический сон.

Мать и старая нянька уложили Зою в гроб. Потом гроб был установлен в той самой гостиной, куда Али-Магомет являлся со своим сватовством. Домочадцы простились с молодой хозяйкой, священник отслужил короткую заупокойную молитву, и небольшая процессия двинулась к часовне. Мужчины, завидя похороны, снимали колпаки и войлочные шляпы, женщины крестились и плакали. Процессия росла ежеминутно. Когда открытый гроб несли мимо канцелярии забита, там из-за оконной занавески показалась женская рука. В ту же минуту занавеска задернулась и рука исчезла.

...Под вечер два всадника въехали в поселок с противоположных сторон. Один, черноволосый, слез на окраине с простой крестьянской лошади и, бросив ее у чьей-то изгороди, бегом пустился догонять погребальную процессию, которая уже приближалась к часовне греческого кладбища. Человек этот затерялся в толпе греков и турок, окруживших каменное здание часовни. Дождавшись выноса тела из часовни, незнакомец протолкался к открытому гробу, плывущему над толпой. Он взглянул на озаренное факелом лицо покойницы и отшатнулся, словно его толкнули. Панайот Зуриди нес вместе с батраками гроб дочери. Он узнал черноволосого пришельца, хотя лицо незнакомца все время оставалось в тени. Панайот сейчас же уступил ему свое место, а сам понес факел и держал его так, чтобы не освещать вновь прибывшего. Процессия двигалась к могиле...

Тем временем второй всадник, тоже в неприметной дорожной одежде, спешил к кладбищенской ограде, долго и тщательно привязывал своего коня к решетке и поспел к открытой могиле в ту минуту, когда священник окончил последнюю молитву. Новый пришелец тихонько осенил себя крестным знаменем, но католическим, а не православным... В этот миг священник отдал женщинам кадильницу и крест и сам вместе с отцом Зои накрыл гроб крышкой. В густых сумерках никто не обратил внимания, как неплотно он прикрыт.

На скатанных простынях гроб осторожно опустили в узенькую, неглубокую яму. На крышку бросили траурные ветви кипариса. Так заранее велел отец Иоанн, чтобы мрачным стуком земли о крышку не довести обезумевшую мать до обморока. Потом посыпались твердые комья слежавшейся, иссушенной зноем земли. Маленький новый холмик укрыли венками. Факелы погасли, стало темно. У свежей могилы забились в рыданиях мать, но ее увели. Народ разошелся. Турецкие жители поселка, приходившие проводить в последний путь дочку старосты, побрели восвояси, вслух осуждая медлительность христианского обряда: при турецких похоронах покойника несут к могиле бегом, чтобы он поскорее возлег на вечном ложе и познал блаженство магометанского рая.

У выхода с кладбища второй приезжий отвязал свою лошадь и впотьмах окликнул по-турецки группу женщин, уводивших плачущую Анастасию Зуриди:

— Скажите, почтенные, где ваш хозяин, Панайот Зуриди? Я ищу его.

Одна из женщин откликнулась из темноты.

— Кто спрашивает Панайота Зуриди? Что сейчас нужно от него турецкому джигиту?

— Я не турок, женщина. Но я плохо говорю по-гречески, потому что я русский. Меня зовут Матвей. Я друг Панайота.

— Тогда поезжай за нами. Хозяин скоро вернется. Он еще на кладбище.

Человек, назвавшийся Матвеем, затрусил следом за женщинами, спускаясь с кладбищенского холма в долину. Но его одолевали сомнения: ехать ли домой к Зуриди, чтобы, пока хозяев нет, расспросить кое о чем служанок, или же вернуться назад, на кладбище. Что может делать там Панайот ночью, один, во тьме? Почему не провожает домой убитую горем Анастасию? Не тайная ли у него встреча на кладбище? Удобнее места не найти!

Взошла луна. На море, до самого горизонта, холодным блеском засеребрилась лунная дорожка. Всадник заметил, как эту полосу светлой зыби пересекала парусная шаланда. Она держала путь к берегу и вскоре исчезла за выступом мыса.

— Для рыбаков время как будто неподходящее. Может, гонец к забиту? Или, наоборот, к грекам? А забит почивает и ничего не видит...

Мысли человека опять вернулись к старосте поселка. Надо воротиться! Так подсказывает чутье...

— Поезжай вперед, Матвей! — советует всаднику все тот же женский голос. — Не сворачивай с дороги до самого верха! Там, у нас, и дождешься хозяина.

— Спасибо, сестра! — по-гречески проговорил конник и подождал, пока женщины отдалятся.

Тогда он повернул назад. До ворот кладбища он не доехал и укрыл коня в придорожном кустарнике весьма заботливо и тщательно. Он не пошел по освещенной луной дороге к воротам, а перелез через кладбищенскую ограду и осторожно, все время держась в чернильной тени кустов и чутко прислушиваясь, стал

пробираться к месту Зоиного погребенья. Кладбище было старым и обширным, походило на темный парк, и отыскать в нем нужную могилу было нелегко даже днем. А сейчас? Если на кладбище даже кто и скрывается, различить тихие отдаленные звуки невозможно: мешает шум ручья, бегущего в долине.

Один раз человеку, назвавшемуся Матвеем, послышался слабый шорох на склоне, обращенном к морю, будто осыпалась и зашуршала земля, но в эту самую минуту его внимание отвлекла картина неожиданная и страшная... Забыв обо всем, человек в ужасе припал к стволу дерева, не в силах охватить рассудком происходящее...

Перед ним, вся в лунном свете, была та самая могила, которую он искал. И грек Панайот Зуриди был здесь. С ним рядом — греческий поп Иоанн и еще какие-то люди... Но что они сделали с могилой, о Езус Мария!

Жилище смерти было разрыто, гроб вынут, крышка с него снята. Около ямы стояли на земле носилки. Какой-то мужчина могучего телосложения вдвоем с незнакомым черноволосым греком... укладывали на них бездыханное тело усопшей! Поп Иоанн и еще какой-то старик грек тут же подхватили носилки и потащили тело к часовне. А трое оставшихся мужчин — Панайот, черноволосый грек и белокурый богатырь — закрыли пустой гроб крышкой, опустили его в яму, завалили землей, уложили на место венки и цветы, придав могиле прежний, неприкосновенный вид. Потом все трое постояли, прислушиваясь, и поспешили к часовне чуть не бегом. Что все это могло значить?

Зачем похитили мертвое тело? Кто они, эти люди, помогающие ночному преступлению? Что происходит в часовне?

Тайный наблюдатель остался в одиночестве за кустом, медленно приходя в себя после пережитого испуга. А что, если рискнуть... постучать в часовню? Иначе ничего не разведает, а риск — не очень велик: он придет как друг!..

Внутри часовню освещали только две лампы перед ликами византийских святых. От входных дверей к ступеням алтаря вела коврая дорожка. Она заглушала шаги на каменном полу.



Поп Иоанн поставил носилки под образом Николы Мирликийского и сразу же запер чугунную входную дверь. Ему помогал старик аптекарь, изготовивший снотворное питье.

— Жива ли? — шепотом спросил священник.

Аптекарь взял холодную руку лежащей и попытался нащупать пульс. Пальцы его не ощутили биения.

Еще одна человеческая фигура, вся в черном, как монахиня, неслышно отделилась от стены и наклони-

лась над носилками. Это была старая Зоина нянька. Поп Иоанн заранее укрыл ее в часовне.

— Батюшки мои! Да она и не дышит нисколько!

— Тише! — старик аптекарь стал на колени и приложил ухо к Зоинной груди. Не сразу ему удалось различить слабые, глухие удары сердца...

— Жива!

На дубовой скамье рядом — уже приготовлено подобие больничного ложа. Старики перенесли бесчувственное тело девушки на эту постель и укрыли теплыми шерстяными одеялами. Женщина принялась растирать Зоины руки и ноги, а медик-аптекарь пытался влить ей в рот вина и лекарства. Лишь с трудом удалось разжать стиснутые зубы больной, но в конце концов у нее появилось дыхание, исчезла мертвенная бледность лица, согрелись руки и, мало-помалу, глубокий обморок стал переходить в спокойный сон.

Вскоре под сводами часовни прокатился смутный чугунный гул, будто слабый отзвук колокольного звона. Это вернувшиеся «могильщики» осторожно трясли входную дверь. Отец Иоанн впустил Панайота Зуриди, Василия Баранщикова, Николо Зуриди! Еще в самом начале «болезни» надежный гонец, сосед-рыбак Захариас, поскакал за ним на север, в горы. Меняя лошадей у знакомых крестьян, брат поспел вовремя в поселок... Теперь, когда он горячо обнял возвращенную к жизни сестру, Зоя открыла глаза.

Нянька отгородила Зоино ложе натянутым платком, чтобы пробужденная не сразу увидела мрачную обстановку вокруг. Отец приподнял больную и усадил ее в постели.

— Все прошло, ты совсем здорова, Зоя, моя доченька, — твердил он ласково, — здесь — все свои, одни близкие тебе люди, теперь ничего не нужно бояться. Вот, видишь, и Николо с нами. Ты узнаешь Николо, доченька?

— Узнаю, — с усилием выговорила дочь. — Где мама?

— Доченька, маму увели домой. Понимаешь, надо было кому-то из нас идти домой, а здесь требовались мужские силы... Сейчас мы пошлем к маме твою няню, чтобы успокоить...

— Отец, а Николо приехал... один? — Зоины щеки чуть порозовели.

— Пока один, доченька, но наш друг Захариас на обратном пути с севера поехал в Силиврию за твоим Константином. Мы все ждем его с минуты на минуту. Ведь он должен, дитя мое, увезти тебя отсюда.

Слабый стук в дверь прозвучал как тревожный сигнал!.. Часовня отца Иоанна не первый раз служила местом ночных встреч с посланцами клефтов. Каждый, кто прокрадывался сюда на тайные сходы, знал: стук за прещен!

Нужно было легонько потрясти дверь.

Стучит чужой!

Зоин брат Николо и Василий Баранщиков подошли по ковровой дорожке к двери. Из-за пазух достали оружие: один — булатный тесачок, другой — турецкий пистолет. Отец Иоанн перекрестился и погасил ближнюю к двери лампаду...

Сквозь щель в двери поп разглядел на паперти тень человека. Не Константин ли Варгас? Нет, тот знает, как постучаться... Впустить чужого? Но он сразу же увидит Зою!

— В алтарь! — шепотом приказывает священник. — Зою с нянькой — обеих в алтарь! Беру грех на свою отягченную душу во спасение души невинной! * Василий, Николо, оружие спрячьте, отворите с богом!

Незнакомца впустили. Обежав быстрым взором полутемную часовню, человек стал торопливо креститься, прикладывая ладонь к груди и плечам, а не поднеся щепоть ко лбу. «Католик, что ли? Все ж христианской веры человек, не турецкой», — подумал Василий Баранщиков. Пришелец прошептал по-турецки:

— Где Панайот Зуриди?

Потом, осмелев, повторил вопрос громче.

Что-то отдаленно знакомое почудилось Баранщикову в звуке этого голоса, в самой манере говорить. С человеком этим Василий наверное встречался раньше, но где? Если на стамбульском Гостином дворе, то это может стать опасным для Василия-беглеца. На

* В греко-православной церкви присутствие женщины в алтаре считается оскорблением святыни.

каком языке говорить с чужаком? Василий спросил по-итальянски:

— Кто ты таков? Не итальянец ли?

— О, нет, нет! Я русский. Меня зовут Матвеем. «Он-то русский? Почему же крестится не по-нашему?» — Василий перешел на родной язык:

— Коли русский, то и говори по-русски!

Незнакомец отшатнулся, внимательно всматриваясь во мрак и тщетно пытаясь рассмотреть лицо говорящего. Но единственная лампада горела слишком далеко и тускло... Снова послышался мягкий, вкрадчивый звук чужой речи:

— Ну, здравствуй, брат! Здорово ли живешь? Где же мой друг Панайот?

Василий напряженно вспоминал: где он уже слышал эту интонацию, слышал даже самую фразу...

Панайот Зуриди вышел из алтаря навстречу незнакомцу.

— Матвей? Как ты попал сюда, друг?

— Меня послала за тобой твоя супруга Анастасия.

Баранщиков сообразил, что это, видимо, и есть тот самый «купец российский», о котором Панайот упоминал раньше, называя надежным человеком. Отец Иоанн и Николо пожимают ему руку.

Ближнюю лампаду опять засветили. Василий разглядел лицо незнакомца и обмер.

Он узнал... иуду-обманщика Матиаса, вербовщика простаков для датского «корабля духов»!

А тем временем к часовне подкрались еще два человека. Это их осторожные шаги на откосе кладбищенского холма послышались было лазутчику Али-Магомета, работорговцу Матиасу, перед тем как он наткнулся на нужную могилу. Теперь, когда подозрительный незнакомец скрылся в часовне, оба наблюдателя тоже приблизились к ней.

— Слушай, Захариас, я думаю, твои опасения напрасны, — сказал один из них. — Враг не полез бы в мышеловку. Это кто-нибудь из наших.

— Нет, Константин, он странно вел себя. Почему же он не подошел к нашим сразу, коли он друг? Почему он сперва подсматривал, а потом решил идти?

— Не знаю, Захариас, но раз уж он там — войдем и мы. У меня сердце разрывается от страха за нее... Не могу больше оставаться в неведении. Живую или мертвую, я увезу ее с собой. Будь что будет, идем!

И снова часовню наполнил чугунный гул. Свои! Долгожданные! Зоя уже могла держаться на ногах и сама пошла к дверям, опираясь на руку отца...

— Константин!

Он подхватил ее на руки, как ребенка, и она прикинула щекой к его пропахшей морем соленой рубашке. Отец Иоанн зажег свечи в двух канделябрах и облачился в парчовую ризу поверх подрясника. Николо и Захариас перенесли аналой к ступеням алтаря.

— Дети,— сказал поп Иоанн обрученным,— до рассвета не более двух часов. Константин и Зоя, подойдите, чтобы я соединил вас навеки.

— Отец Иоанн! — взмолилась невеста. — Ведь мама еще не знает, что я здорова! Сердце ее может не выдержать. Отец хотел послать домой нянюшку...

— Ох, Зоюшка,— заплакала старуха,— я заплутаюсь впотьмах. Уж хоть ты, Николо, вывел бы меня на дорогу!

— Позволь мне отлучиться, отец! — попросил молодой Зуриди.

— Нет, лучше это сделаю я,— быстро вмешался Матиас. — Не годится брату уходить от сестры в час ее венчания. Панайот, хочешь я приведу Анастасию сюда?

— Не успеешь, брат! Через полчаса Константин и жена его Зоя должны быть в море. Но проводить к Анастасии нашу старушку нужно! Что ж, ступайте, няня и Матвей, обрадуйте мать и дождитесь нашего возвращения. Скажите матери, что она сможет проститься с молодыми в Тихой бухте. Позднее мы сами проводим туда Анастасию.

Поп Иоанн пошел открывать. И пока старуха, плача, прощалась с Зоей, а священник возился с тяжелым засовом, Василий Баранщиков, сжав до боли руку младшему Зуриди, шептал ему:

— Николо, клянусь тебе Христом: то — не добрый человек. Я узнал его — он торговец людьми. Проследи за ним, а то — беда будет! Всех нас предаст и в рабство обращает.

Дверь открылась, старуха и Матвей вышли из часовни. Николо Зуриди поманил к себе Захариаса, шепотом перекинулся с ним двумя-тремя фразами, потом оба подошли к попу.

— Скажи, отец Иоанн: есть еще ход из часовни?

— Есть, только подземный, тесный. Паутина там... Выход в склеп Маврониса, рядом, знаешь?

— Знаю. Открой нам этот ход, отец Иоанн, поскорее!

Старик отогнул край ковра. Открылась плита с кольцом. Схватившись за кольцо, Николо с трудом поднял массивную плиту.

— Возьмите свечу, спуститесь в подвал. Увидите дверцу. За ней — короткий ход, прямо в склеп. Когда подниметесь по ступенькам — только откиньте решетку, она не заперта.

Оба грека исчезли в черном отверстии подземелья. Внизу тихонько звякнула дверца. Наступила тишина. Прошла минута, другая — и люди, прикинувшие ухом к дверной щели, уловили шорох удаляющихся шагов.

...Освещенная луной дорога и кусты на откосе казались белыми. Две тени, мужская и женская, скользнули под аркой кладбищенских ворот и спустились в ложину, где протекал ручей.

Матиас помог старухе перебраться через ручей вброд и выйти на дорогу.

— Отсюда ты и сама дойдешь до дому, женщина, — сказал он. — А я вернусь на кладбище, к друзьям. Не каждый день случается видеть такую свадьбу. А кроме того, у меня там, у кладбища, привязана лошадь.

— Ступай, ступай себе с миром. Здесь я не заплутаюсь, дорога простая. Отыщи свою лошадь, да возвращайтесь все поскорее! — и женщина стала подниматься в гору.

Матиас подождал, пока женщина скроется в темноте, и побежал по тропинке к мызе Али-Магомета. Вот и купа деревьев, скрывающих угол дувала — глинобитной стены, окружающей мызу.

Пробежав вдоль стены до не приметной деревянной двери, украшенной резьбой, лазутчик постучал. Не вы-

ждав и минуты, он снова постучал, нетерпеливо и настойчиво. Потом забарабанил в дверь кулаками.

Наконец за дверью послышался шорох. Она чуть приоткрылась.

— Это ты, Осман? — спросил пришелец. — Почему долго заставил ждать у дверей? Скорее пропусти к забиту. Он ждет меня нынче.

— Ты пришел слишком поздно, эффенди Глен! Сардар ожидал тебя до полуночи. Сейчас потревожить сардара невозможно.

— Где он?

— В гареме.

— О, дьявол! Если тебе дорога твоя палисандровая башка, слышишь ты, Осман, то сделай немедленно все, что я тебе сейчас прикажу: подними на ноги сардара сию же минуту! Скажи ему, что он обманут: дочь Зуриди жива, ее сейчас увезут отсюда в море. На кладбище, в часовне, прячутся клефты. Нужно, чтобы заптии сейчас же окружили кладбище!

— Хорошо, Метью Глен! Вести важны, я схожу к сардару, но ты подожди здесь, чтобы гнев Али-Магомета пал на твою, а не на мою голову!

— Неразумный! Мне нельзя терять ни секунды! Пусть сардар захватит в часовне, вместе со всеми, и меня! Так и передай ему, понял?

— Иншаллах! — последовал ответ, и дверь закрылась. Человек, еще не отдышавшись от быстрой ходьбы, направился обратно...

...Матиас не сделал и двух десятков шагов, как чьи-то жесткие руки сильно сдавили ему горло. У него мгновенно почернело в глазах...

Другая человеческая фигура с кинжалом в руке притаилась на верху дувала. В большом, красивом саду забита царили тишина и покой, лишь вдоль дувала, в тени, сторож Осман быстро шел к дому. Идущего нельзя было видеть, лишь его белая чалма чуть колыхалась во мраке. Человек с кинжалом прыгнул с дувала в сад... Удар был молниеносен: пораженный в сердце Осман поник возле куста белых роз. Мститель перескочил назад через дувал и в следующий миг был около своего товарища. Полузадушенный Матиас лежал без сознания.

— Ну, что там, Захариас? Ты успел настичь того, за оградой?

— С ним покончено. Бежим!

— Спасибо тебе, друг! Значит, Али-Магомет проспал до утра. Но этот негодяй должен еще кое-что рассказать нам. Сначала оттащим его подальше от дороги.

Лежащий застонал и пошевелился. Перед самым носом он увидел кинжал.

— Не вздумай кричать! Захариас, вяжи ему руки назад. Ну, поднимайся, и чуть что — смерть, понял? Ступай, гадина!

— Куда ты хочешь вести его, Николо?

— К часовне. Наверное мы встретим наших уже на дороге к морю. До рассвета Константину нужно отчалить и укрыться в бухте.

...Между тем в часовне Василий Баранщиков гвоздем нацарапал на двух оловянных колечках, что нашлись в ризнице, имена новобрачных.

Часовня еще не знала столь короткого свадебного обряда, как нынешний, да еще глухой ночью, при запертых дверях. После венчания Константин помог жене переодеться в костюм юнги. В матросской одежде Зоя выглядела теперь стройным кудрявым мальчиком.

Часовня опустела, только священник с аптекарем еще задержались в ризнице, приводя в порядок ее нехитрый инвентарь. Панайот Зуриди и Василий Баранщиков потихоньку пошли навстречу Николо и Захариасу, Константин Варгас на руках понес молодую жену к шаланде. Осторожно он епускался к морю по крутому южному склону холма. Было решено, что Варгас отведет шаланду сперва в тайное место — укромную бухту неподалеку от поселка. Там Зоина мать должна была проститься с дочерью перед разлукой. Константин намеревался увезти жену в Италию и начать там новую жизнь...

...Встреча Панайота Зуриди с «другом Матвеем» произошла на дороге, близ кладбища, и явилась большой неожиданностью для честного грека. Когда Николо и Захариас объяснили ему, почему они привели «российского купца» связанным, Зоин отец плюнул предателю в лицо и молча пожал руку Баранщикову.

— Где твоя лошадь? — сурово обратился Николо к связанному. Матиас зябко поежился, но не ответил.

И хотя луна уже зашла и наступила самая темная, предрассветная пора южной ночи, лошадь все-таки отыскали. За седлом висели две увесистые переметные сумы. Их оттащили в кусты, но в эту минуту наверху, со стороны кладбища, на дороге показался огонек. Там шли двое, освещая дорогу перед собой.

Николо Зуриди коленом прижал к земле тело связанного предателя.

— Если издашь хоть звук — убью! — прошипел он Матиасу на ухо. — Лежи, не шевелись!

Остальные притихли в кустах.

— Да ведь это отец Иоанн! — первым встрепенулся Баранщикова. — С вашим аптекарем. Домой идут из часовни.

Через минуту здесь, прямо в кустах, при свете фонаря удалось рассмотреть содержимое переметных сум. Там оказалось немало всевозможных предметов одежды, мужской и дамской, пудра, духи, много дорогих украшений и три паспорта — итальянский, британский и польский, последний на имя Матиаса Гленского из Данцига. По-английски он значился Метью Гленом, по-итальянски — Маттео Гленни. В потайном отделении обнаружили кожаную тетрадь с записями, крупные бумажные деньги и ценные бумаги. Наконец, в особом, очень нарядном турецком кошельке звякнули червонцы. Кошелек был тяжел.

— Сколько их? — спросил Николо у владельца. Тот по-прежнему молчал.

— Я спрашиваю, сколько здесь иудиних серебряников, собака? Говори, за сколько ты продал нас?

— Нет, нет! Это деньги — не мои! Это — задаток капитану «Валетты» за... товар для здешнего забита. Здесь ровно тысяча дукатов, господа.

— А что это за товар и где он сейчас? — спросил Николо.

— В канцелярии забита, господа, под надежной охраной.

— Значит, это — живые люди. Кто они? Отвечай, собака!

— Это — всего одна девушка, проданная ему нашим капитаном. Я даже не знаю хорошенько ее имени

и видел лишь мельком... Я просто казначей в этом деле, пощадите меня. Я могу оказать вам бесценные услуги!

— Кто эта девушка? Гречанка?

— Нет, нет, она не здешняя. Это — молодая итальянка, только...

— Веди нас к ней, в канцелярию. Ты явишься туда от лица Али-Магомета, чтобы охрана отпустила с тобой пленницу.

— Но, господа, ее сторожат не только турки, но и наши матросы с корабля, оставшегося на стамбульском рейде. Они не отпустят ее со мною без уплаты всей цены, назначенной за нее.

— А какова цена?

— Капитан наш требует за нее две тысячи дукатов сверх задатка, который вы у меня... Турецкие часовые караулят помещение снаружи, а наши матросы — изнутри. Они вооружены.

— Сколько их там?

— Трое.

— Плохо! Но все равно, идемте. На месте решим, что делать для ее спасения. Смотрите, друзья, кажется, Константин вышел в море. Значит, через час он будет уже около Кючук-Чекмедже, в Тихой бухте.

Еле различимый силуэт греческого паруса смутно обрисовался на воде. Он был еще у самого берега. В ночном безмолвии каждый звук доносился с моря так ясно, будто он раздавался здесь, совсем рядом, в темных кустах при дороге. Скрипнул блок... А вот чьи-то осторожные руки укладывают на деревянной корме якорную цепь...

— Эй, вы там, райи на лодке! — раздался с берега ленивый и грубый окрик. — Фирман у вас есть на ночной выход в море?

— Разумеется, есть, аскер-ага! — отвечает спокойный голос Константина Варгаса. — Наш фирман подписан новым начальником санджака Чатаджи, эффенди Дели-Хасаном. Может быть, вы соизволите взглянуть? Но тогда я должен снова пристать к берегу, а это сулит неудачу в ловле!

— Ты один там, на лодке?

— Со мной здешний мальчик, ага.

— Куда пойдете ловить?

— В Бююк-Чекмедже, ага! Утром вернемся с уловом.

— Проваливайте!

В заднем кабинете канцелярии спала на ковре итальянская пленница. В передней комнате остервенело резались в карты трое матросов. Тут же дремал личный писец забита, старый турок Сулейман. Ему хотелось по-настоящему уснуть, страшно надоели гяурские рожи, их галдеж и отвратительная ругань во время игры.

Уж не забыл ли сардар о пленнице? Нет, конечно, нет! Просто он мудр и не желает выказывать нетерпения, чтобы эти гяуры умерили свою наглость. Впрочем, правду говоря, их маленькая Ева действительно и молода, и недурна собою. Три тысячи дукатов? Гм? Что ж, пожалуй...

Старик уже несколько раз выходил наружу и со скуки вступал в беседу со сторожем, охраняющим, как всегда, канцелярию. Времени уже — половина четвертого. Скоро рассвет.

Но вот сторожа кто-то окликает. В сенях слышатся шаги. А, это Метью Глен! Значит, он от самого забита. Может быть, Еву поведут сейчас показать новому владельцу? Беда в одном: она еще не поняла, кажется, своего положения и может расплакаться, когда поймет. Забит этого не любит!

— Селям алейкум, эффенди Глен! Не жалует ли следом сам сардар? Но что случилось с вами, эффенди? Вы сильно утомились или вас посетила печаль? Кого вы привели сюда?

— Алейкум селям, Сулейман-ата! — упавшим голосом отвечает Метью Глен. — Со мною двое слуг сардара, пусть посидят в сенях. У меня дурные вести, Сулейман. Оказывается, мы напрасно старались для вашего забита. Али-Магомет отказывается от пленницы. Мы увезем ее назад в Стамбул. Сейчас и отчалим.

Матросы бросили игру. Никто из них не обратил внимания на странную возню в сенях — так удивила матросов и старого Сулеймана новость, сообщенная Метью Гленом. А в эти самые минуты Василий Баранщиков успел оглушить и накрепко связать сторо-

жа-турка. С кляпом во рту тот остался лежать под крыльцом.

Если бы в этот миг работоторговцы с «Валетты» догадались посмотреть в окно, они увидели бы за слюдой окошка пистолетное дуло: это Николо Зуриди держал на прицеле Метью Глена. Но матросов интересовала сейчас только неудавшаяся сделка с заказчиком. По-турецки они понимали плохо. Один из них крикнул Глену:

— О чем ты болтаешь старому идолу, Метью? Твой заказчик отказывается? Или я неверно понял твою тарбарщину?

— Да, ребята. Он отказывается. Говорит, берите назад.

— Как же так? А... задаток в тысячу дукатов? Ты вернул их, что ли?

— Пока они у меня. Я сказал, что мы подождем с отъездом до завтра. Может быть, он передумает?

Матрос, по прозвищу Бобби-постник, стукнул по столу так, что в соседнем помещении проснулась Ева.

— Какого черта нам торчать здесь до завтра? Где золото?

Метью Глен хлопнул по кожаному кошельку у пояса. Мелодичный звон произвел на всю компанию действие магическое. Матросы вскочили с мест, готовые немедленно покинуть канцелярию. Писец отлично усвоил ситуацию и запротестовал решительно.

— Я не позволю увезти пленницу, пока золото не будет возвращено сардару! Назад от ее дверей! Эй, сторож, слуги! Сюда! Держите гяуров!

Выкрикнув эти слова, старик вскочил со своего места и заслонил собою дверь в кабинет. В ту же минуту из сеней в комнату шагнули два рослых незнакомца с пистолетами.

— Ребята! — тихо проговорил Метью Глен по-английски. — Это вовсе не слуги забита, а мои друзья, греки. Неужели вы не управитесь с одним старым турком? Сверните ему побыстрее шею, хватайте девочку и — путь свободен!

Схватка была короткой. С ножом под сердцем старый Сулейман рухнул на порог кабинета. Дверь распахнулась. Полураздетая Ева сидела на ковре, в ужа-

се взирая на потасовку. Матросы подхватили ее и кинулись к пристани. Сзади бежали Николо Зуриди и Василий Баранщиков; за спинами у них болтались мешки. От канцелярии до пристани было не более пятисот шагов. Шлюпка с надписью «Валетта» колыбалась на волнах, привязанная к причалу. Прибоя почти не было. Весла с уключинами валялись на песке, брошенные тут матросами накануне.

У самого берега беглецы умерили шаг. На пристани дежурит часовой! Но, на счастье беглецов, окрика не последовало: часовой мирно храпел, убаюканный шелестом волн. Через три минуты шлюпка с семью людьми уже отделилась от берега. Теперь на каждом весле сидело по отличному гребцу. Николо и Василий поместились на задней банке. Еву, дрожащую от страха и холода, положили на корме, укрыв пледом.

— Теперь, ребята, слушайте, что я вам скажу! — шепотом заговорил Метью Глен. — Если мы пойдем на этой шлюпке в Стамбул, нас обязательно перехватят. Тревога, вероятно, поднимется на рассвете, через несколько минут. Как турки поступят с нами, угадать не очень трудно — говорят, они положительно недолюбливают, чтобы у них увозили золото, вязали часовых и резали чиновников. Неподалеку отсюда есть укромная бухта. Там мы затопим шлюпку, поделим деньги, переменим одежду и разными дорогами будем пробираться в Стамбул, на «Валетту», или... куда глаза глядят.

— Гм! У твоей мельницы, Метью, неплохо крутятся жернова, клянусь невыпитым джином! Он прав, ребята, надо идти в эту бухту. Только кто нам ее покажет?

— Я! — отвечал Николо Зуриди.

— А где мы возьмем другую одежду? — проворчал кто-то.

— Здесь, в мешках, — пояснил Зуриди.

Шлюпка пошла вдоль берега и завернула за мыс. Поселок, пристань и залив исчезли из поля зрения. Гребцы одолели первую милю пути. И тогда порозовели легкие облака над морем, только берег оставался еще одноцветным и темным.

— Еще мила, ребята, и мы у цели. Бухта — вон за тем мыском.

Быстро тает южная ночь! Коротки здесь и сумерки, и зори! Но вот уже и мысок. За полоской прибрежной гальки — кусты и песчаные холмы. Берег — вот он, рукой подать.

Николо Зуриди и Василий Баранщиков привстали, бросив весла. Громким голосом Николо приказывает гребцам:

— Держите сюда, к устью ручья. Сейчас покажем удобную стоянку.

Грек уже разглядел мачту спрятанной здесь шаланды. Теперь — предупредить Константина о неожиданном обороте событий.

Вложив пальцы в рот, Николо засвистал. С берега, совсем близко, раздался ответный свист. Зашевелились кусты над водой... Зуриди и Баранщиков выскочили из лодки и выхватили пистолеты.

— Бросай весла! Руки вверх!

Из-за укрытия показался Константин, тоже с пистолетом в руке. Позади него Баранщиков разглядел Панайота и Захариаса.

— Выходите из лодки поодиночке!

Ошеломленные матросы с поднятыми руками выбирались на берег. Их по одному обезоруживали и вязали. Такая же участь постигла и Метью Глена.

— Константин, выноси эти мешки. Руби дно у шлюпки! И пусть она идет на дно, к морскому дьяволу!

Связанные матросы молча следили, как их шлюпка погрузилась в розовые от зари волны. Бобби-постник проворчал злобно:

— Ты предал нас грекам, Метью Глен! Узнаю твою работу. Но это был последний твой обман, клянусь невыпитым джином! Эй ты, грек Николо, или как тебя там: что вы сделаете с нами?

— Это вы сейчас узнаете. Константин, веди их всех в кубрик на шаланду.

...Четырех связанных пленников усадили в кубрике, удивившем матросов «Валетты» своим нарядным убранством. В этом диковинном для рыбацкой шаланды кубрике матросы «Валетты» встретили совсем мо-

лодого юнгу с очень красивым лицом и пожилую заплаканную женщину.

Следом за пленниками в кубрик втиснулись и сами победители. Сюда же ввели Еву.

— Скажи нам, девушка, откуда похитили тебя эти пираты? — спросил Николо Зуриди.

Василий Баранщиков исполнял роль переводчика с турецкого на итальянский.

— Эти люди спасли меня от гибели в море, после кораблекрушения...

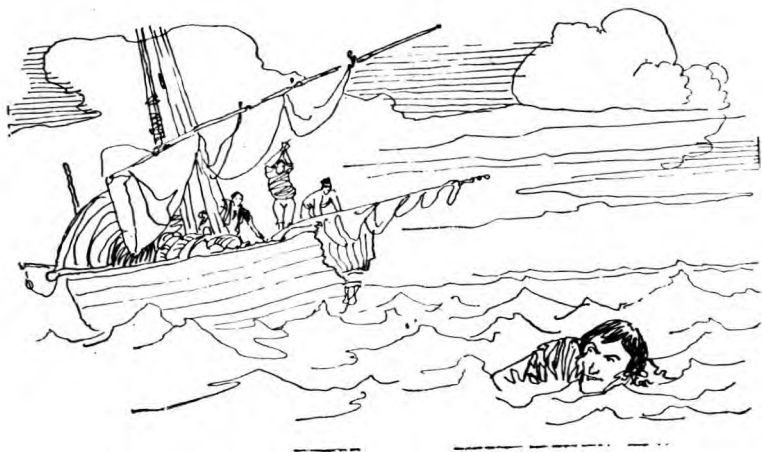
— Спасли, чтобы продать в турецкое рабство! Для этой цели они и привезли тебя сюда, в Агиос Стефанос, или, как вы, итальянцы, говорите, Сан-Стефано. Ты предназначалась в подарок важному паше и, наверное, действительно погибла бы. И спасли тебя от гибели не эти работорговцы, а мы, греческие братья-клефты из дружины Александра Арматола, нашего капитана.

— Что же будет теперь со мной и этими людьми?

— Решай сама, девушка, с кем из нас тебе по пути! Я должен вернуться в свою дружину. Моего русского друга Василия, который помог нам в трудный час, наши люди проводят по ту сторону Балкан. Вот эта чета новобрачных направится сегодня же морем в Галлиполи, за сотню миль отсюда, чтобы какой-нибудь сговорчивый шкипер взял их обоих на свой корабль, прошел Геллеспонт и высадил где-нибудь под небом твоей Италии. Ты можешь попытаться бежать с ними, Ева... А работорговцев мы предоставим божьему суду! Ради твоего спасения мы отменили смертную казнь вот этому предателю, и он разделит участь своих матросов, работорговцев. Я намерен по пути в Галлиполи спустить их за борт. Мы пойдем в двадцати милях от берега. Коли бог захочет — он спасет их. Или даст им утонуть, на то его воля!

— Дай мне сказать слово, Николо! — заговорил один из матросов. — Мы — люди грешные. На совести у нас немало темных дел, и пощады мы не просим. Но ты, Николо, не должен смешивать нас, матросов, вот с этим Метью Гленом. Он предал нас, своих товарищей, в ваши руки. Дай нам самим и судить его!

— Это вы сделаете в воде, — сказал Николо.



— Слушай, Николо, а не возьмешь ли ты меня в свою дружину, если там все ребята похожи на тебя? Я ведь на «Валетте» недавно, и мне там чертовски не по душе. Если возьмешь — не пожалеешь!

— А меня, Николо,— заявил старший из матросов,— лучше прикончи здесь, сразу. Я плохо плаваю, а для дружины твоей слишком стар и грешен. Незачем мне выходить с тобой в это плавание!

Только Бобби-постник ничего не сказал. Он предпочитал купанье в обществе Метью Глена, чтобы в воде разделаться с этим франтом. Бобби смерил Глена таким взглядом, что у того сразу задергалась щека.

— Сейчас — все на борт шаланды! — приказал Константин Варгас.— Здесь не место для казней. Дорога каждая минута. Прощайте, папа Панайот, мама Анастасия. До лучших времен!

Парус развернулся, шаланда быстро набрала ход. Вскоре маленький юнга перестал различать прощальные взмахи белого платка на берегу и сквозь слезы улыбнулся своему капитану.

Для бегства с Зоей Константин Варгас выбрал лучшую из рыболовных шаланд в артели своего отца. У нее был хороший ход — даже в сравнительно тихую

погоду она могла покрыть сотню миль до Галлиполи за девять часов. Но придти туда следовало в темноте, и Константин не очень спешил. Его друг, Николо Зуриди, показывал берега родной страны Василию Баранщикову.

— Видишь, вот этот поселок у залива — это Кючук-Чекмедже. Там, за мысом, будет Бююк-Чекмедже. Вон, вдоль моря, пошла дорога на Силиврию, родину Константина. А там, повыше, в горах — городок Чатаджа, главный город нашего санджака. Туда на днях прибыл новый начальник, офицер Дели-Хасан, чей фирман позволяет нам выход в море.

— Знал бы он, что его фирман помогает янычару Селиму выбраться из эдакой каши! — про себя пробормотал Василий Баранщиков.

Когда солнце перевалило за полдень, берег почти исчез из виду. До него было верст двадцать — двадцать пять. Полуденное марево делало берег призрачным, как мираж. Шаланда шла на траверзе Текирдага и приближалась к Газикёю. Сейчас расстояние до берега начнет уменьшаться. Пришел час «божьего суда» над работорговцами.

Молодого матроса, который попросился в дружину, Николо решил не спускать в море, а провести к предводителю, чтобы испытать в первом же бою. Старшего из матросов-работорговцев решено было тоже увести в горы как пленника, чтобы не подвергать его неминуемой гибели в море. Пусть дружина решит его участь! Обоих же приговоренных к купанию, Бобби-постника и Метью Глена, снабдили ножами и несколькими червонцами. Ни тот, ни другой не просили пощады. Первым пошел за борт Бобби. Плавал он, как настоящая акула. Уйдя под воду, он долго не выныривал на поверхность, опасаясь выстрела: он судил о людях по себе! Потом, проводив глазами парус, выбрал направление, перевернулся на спину и, чуть шевеля ногами, стал двигаться к берегу. Ветер ему помогал, но пловец решил не торопиться: выйти на берег можно было только в темноте.

Через пятнадцать минут окунулся в море и второй осужденный, Метью Глен, или, точнее, Матиас Гленский. С борта долго еще видели в волнах его рыжеватую голову. Шансов спастись у этого пловца

было мало: он уже начинал толстеть, изнеженное тело отвыкло от усилий. Вот уже и потеряна из виду его голова... Никто из оставшихся на борту так никогда и не узнал, какая участь постигла в море этого человека...

А спасенная пленница лишь теперь поняла окончательно, что за судьба ждала ее в Стамбуле. И когда ей опять предложили разделить с Константином и Зоей риск ночного побега через Дарданеллы на чужом корабле, она, подумав, отказалась, поглядевши в глаза Николо Зуриди. Ведь она была теперь совсем одна на свете, а горная Греция... разве она хуже прекрасной Италии?

ДОРОЖЕНЬКА ДАЛЬНЯЯ

«Язык до Киева доведет».

Старинная пословица

Новые греческие друзья помогли Василию Баранщикову выбраться с побережья Мраморного моря на адрианопольскую дорогу. Горными тропами они проводили Василия до переправы через речку Эргене и вывели в долину Марицы. Здесь беглец протиснулся со своими спутниками: те переплыли Марицу на челне, чтобы углубиться в Родопские горы, а Василий Баранщиков, едва опомнившись от пережитых тревожных событий, остался один на большой дороге, в тридцати верстах от города Адрианополя, или по-турецки Эдирне. Беглец отнюдь не чувствовал себя покинутым: он теперь отлично знал, кого и где разыскивать в древнем граде, второй столице Османской империи.

И даже идти пешком по солнцепеку пришлось недолго! Когда Василий догнал пару длиннорогих, мохнатых буйволов, впряженных в небольшую турецкую арбу, старик возница жестом пригласил путника занять место в повозке рядом с собою. Не останавливая буйволов, старик подгрел к задку арбы сенца, бросил поверх него кошму верблюжьей шерсти и даже пособил Василию перебраться через высокую деревянную спинку. Возница оказался чифчией — турецким крестьянином-земледельцем из Чорлы.

— Сидеть лучше, чем идти, хотя хуже, чем ле-

жать! — сказал он доброжелательно. — Откуда бредешь, путник? Наверное, грек с Фанара?

Беглец добросовестно повторил все, что ему подсказали Панайот Зуриди и поп Иоанн. Дескать, он — грек, по имени — Михаил, афонский монастырский послушник, торгует крестиками, иконками и ладанками, собирает доброхотные даяния с мирян в пользу обители.

При этом Василий указал собеседнику на свою холщовую сумку с некоторым количеством богоугодного товара. Поп Иоанн предусмотрительно снабдил Василия этой сумкой со всем содержимым, оставив, правда, у себя кошелек с янычарскими пиастрами. Карманы у Василия почти опустели.

Старый турецкий крестьянин покосился на «амулеты» и сразу поинтересовался, не обладают ли они и лечебными свойствами — жена мучается зубной болью.

— А много ли у тебя всех жен-то? — поинтересовался Баранщиков.

— Одна.

— Что же так мало? Скучно тебе небось с одной?

— Шутишь ты, путник Михаил! Разве бывает у бедняка много жен? Это только у богатых, а бедный не знает, как одну-то прокормить. Одеть надо, лечить вот тоже надо. Ребятишек кормить надо.

— Твои-то ребятишки, наверное, уже выросли давно.

— Выросли! Было два сына — обоих русские убили на войне, десять лет назад. Чифт* совсем плохой стал. Буйволы худые, старые, не тянут. Субаши** у нас — настоящий шайтан, хуже последнего гяура. Требует с нас, чифчиев, джизирь*** даже за маленьких детей. Не сделал я ему подарка, проклятому субаши, так он солдата привел ко мне на постой. Самим нам со старухой житья нет, говорит — корми еще и солдата. А чем кормить солдата, если каждый день четыре часа нужно отработать для тимарли****.

* Чифт — крестьянское хозяйство, ферма.

** Субаши — помещичий приказчик.

*** Джизирь, или харач — подушный налог.

**** Тимарли — владеец тимара, т. е. земельной феодальной вотчины, ленного владения.

А тут еще старуха заболела... Ты дай мне, Михаил, амулет от зубной боли для нее. Дашь, а?

Василий порылся в суме, выбрал ладанку с «чудотворными» мощами (цена — десять пиастров!) и протянул старику.

— Поможет? — с надеждой спросил тот.

— Должно помочь! — неуверенно отвечал «чудотворец».

— Рахмат, кунак!

Старик поглубже спрятал «амулет» и на радостях даже подстегнул буйволов ремненным бичом. Это не произвело на быков ни малейшего впечатления. Однообразное поскрипывание плохо смазанных осей клонило Василия в сон. А турецкий возница все бормотал рядом о своих заботах, о шайтане-субаши, о жадном владельце тимара — тимарли, богатом помещике, живущем в Стамбуле. Десять лет назад этот хозяин тимара снарядил для султанской армии двадцать боевых всадников, все из сыновей чифчиев, самый цвет села. И ни один из двадцати не пришел назад к своей семье, все погибли за Дунаем, от русских пуль и штыков...

...Когда Василий проснулся, арба оказалась распряженной на речном берегу, буйволы недвижно стояли в воде, хозяин повозки сидел на камне и сосредоточенно, со всех сторон, натирал чесноком сухую корку. А над собственной головой Баранщиков увидел нечто вроде полога, сооруженного с помощью палки и тряпья для защиты спящего от солнца.

— Сладко ты спишь! — сказал старик. — Значит имеешь спокойную совесть и живешь без заботы. Подкрепись лепешкой с чесноком, больше у меня ничего нет.

Василий огляделся. В просторной долине раскинулся большой восточный город, напоминающий своими строениями Стамбул. Арба остановилась у самого слияния двух рек — Марицы и Тунджи. Лесистые горы казались очень близкими, солнце уже клонилось к их вершинам. Там, где оно собиралось сесть, зеленела еще одна красивая долина — ложе реки Арды. Справа, над крышами городских домов, высились колокольни христианских церквей и минареты многих мечетей. Сразу бросался в глаза огромный купол ме-

чети Селимье, похожей на константинопольскую Айю-Софию. Но здешняя, адрианопольская мечеть была еще сажени на три выше стамбульского каменного чуда, а минареты Селимье вонзались прямо в облака.

Расставшись с добрым турецким возницей, Баранщиков вступил в город. Дома, по большей части деревянные, как и в столице, были очень красиво выкрашены какими-то особенно блестящими и яркими масляными красками. Дворы и улицы затеняли старые платаны, тополя, раскидистые буки и вечнозеленые кипарисы.

Миновав мечеть Селимье с ее минаретами и порфировыми колоннами, подпирающими величественный купол, Василий прошел мимо крытого рынка, построенного из тесаного камня и вмещавшего до сотни лавок под своими сводами. Город понравился Василию. Он казался гостеприимным благодаря обилию кофеен, домов для приезжих, общественных колодцев и красивых фонтанов. Наконец близ набережной Тунджи путник отыскал заранее известную ему церковь Вознесения.

День был субботний. Василий вошел в скромный храм вместе с прихожанами — греками и болгарами. В левом приделе церкви он увидел картину: крылатый архистратиг летел в луче, прорезавшем тучу, над гибнущими в море кораблями. Николо Зуриди говорил Василию, что греческий живописец изобразил под видом библейского сюжета Чесменский бой. Справа от картины стоял канделябр перед темным ликом византийской иконы.

Баранщиков зажег свечу, купленную при входе, и неторопливо укрепил ее в одном из подсвечников канделябра. Свечка не успела даже оплыть, как Василия тихонько тронули за рукав. Он размеренно перекрестился не три, а четыре раза. Тотчас же он различил шепот на понятном ему, болгарском языке.

— Выходи из церкви и ступай за мной. Я приведу тебя к нашим.

Около Василия оказался мальчик-болгарин лет тринадцати. Выждав несколько минут, Баранщиков отправился следом за мальчиком по стихающим улицам Адрианополя. Перешли мост через Тунджу, до-

брались до предместья. Мальчик стукнул в закрытый ставень. Дверь небольшого домика приоткрылась и впустила пришельцев. Из темных сеней Василий шагнул в горницу, озаренную каганцом, и попятился...

За столом сидели двое вооруженных турецких солдат!

Испуг был велик! В одно мгновение промелькнули в уме Баранщикова события последних лет, недель, часов... Поимка означала жестокую, беспощадную казнь.

Но вот один из турецких воинов встает, протягивает беглецу руку и говорит на болгарском языке:

— Здравствуй, Большой Иван! Не бойся нас — мы болгарские юнаки. Еще когда ты был у греков в Сан-Стефано, мы уже слышали про твой побег и думали, как тебе помочь. Одежда наша — чужая, мы в нее лишь для отвода глаз вырядились: недавно наши парни в горах изловили на дороге и взяли в плен двух турецких стражников с шипкинского кордона. Сардар-офицер отпустил их на неделю в Харманли, это шестьдесят верст отсюда, по ту сторону Марицы. Мы взяли у них коней, оружие и бумагу, но срок отпуска, указанный в бумаге, кончается сегодня. Мы ждали только тебя и за ночь должны быть в Харманли. Поверх своей одежды надень турецкий халат, а голову повяжи чалмой. Если нас задержат, скажем, что ты — мой брат и тоже едешь с нами на перевал, чтобы служить на кордоне вместе со мною. Теперь садись ужинать, Большой Иван!

Через час хозяин дома привел во двор еще одну оседланную лошадь, и три всадника, не мешкая, покинули адрианопольское предместье.

При луне проскакали верст тридцать по тракту. Слева от дороги, навстречу всадникам, катила свои волны красивая Марица. Перед арочным каменным мостом всадников остановили караульные турецкие солдаты. Начальник караула долго разбирал фирман шипкинского кордона, выданный двум солдатам-отпускникам. Даже не поинтересовавшись, почему солдат стало три и один из них одет в простой халат, начальник велел пропустить конников на мост.

На восходе солнца всадники были в Харманли, и Василий, непривычный к долгой верховой езде, с тру-

дом передвигал ноги, ведя свою лошадь под чей-то гостеприимный навес. Однако отдых в Харманли был краток. День выдался нежаркий, да и от Марицы веяло прохладой. Уже через три часа спутники разбудили Василия. Коней поили под мостом, в быстрой Харманлийске. Пока охолонувшие на стоянке лошади, отфыркиваясь и вздрагивая, пили холодную прозрачную воду, Василий глаз не мог отвести от игры форелей на быстрине. Потом все три всадника резво вымахнули на откос, и скачка продолжалась.

Баранщиков не успевал восхищаться красотами древней болгарской земли, так быстро одна живописная картина сменялась другой. Вот дорога снова перешагнула через Марицу, чтобы наконец расстаться с ее цветущей долиной. Постепенно становясь круче, дорога углублялась в отроги Балканских гор. Запомнилась Василию короткая остановка в деревне Карабунар, где привал устроили на краю тенистого старинного кладбища, очень большого и красивого.

Уже в наступающей темноте, чуть не падая с седла от утомления, Василий увидел большой поселок, красивые темные деревья и журчащий фонтан с каменным бассейном.

— Эски-Саара, по-нашему — Стара-Загора! — услышал он слова спутников. — Здесь будем ночевать.

...Утром, на рассвете, когда стали седлать коней, Василий Баранщиков чуть не ахнул от изумления, оглядевшись кругом. Прямо перед ним, заслоняя с севера весь горизонт, взметнулась к тучам громада Балканского хребта, похожая на исполинскую гриву каменного дракона. Оттененные полосками лесных зарослей и кустарников каменистые склоны поражали яркостью своих утренних красок: в лучах зари скалы казались фиолетовыми, огненно-рыжими, голубыми, серыми... Облака над горами, казалось, еще сохранили очертания тех извилистых ущелий и долин, откуда утренний туман поднялся в небо. А тут, у подножия этих гор, торопливо седлали турецких коней болгарские юнаки, спутники российского странника...

— Теперь — до Казанлыка, — сказали они Баранщикову. — Дальше тропами пойдем; в пещере, у наших юнаков, отдохнешь, и — выведем тебя по ту сторону гор. Там леса большие, почти до самого Дуная тянут-

ся. По Дунаю твои собраты живут, русские рыбаки, некрасовцы-липоване и руснаки. Они помогут тебе на тот берег перебраться. А вон, видишь, на востоке, где солнышко встало, там есть город Сливен — туда крымский хан переселился, которого вы из Бахчисарая попросили...

Тридцать верст до Казанлыка лошади одолели к полудню — дорога шла в гору. Село Казанлык лежит в Долине роз у самого подножия Старой Планины, как болгары называют Балканские горы. В село путники не вошли — там в нескольких домах были расквартированы стражники турецкого кордона и на дороге часто останавливали прохожих. Оставили коней на хуторе перед селом и тайными горными тропами углубились в самое сердце «Старой Матери — Старой Планины»...

Удивительны и памятны были дни, проведенные Василием в партизанской пещере на лесистом северном склоне хребта!..

Тишина кругом, только глухо шумит горный ручей в ущелье. Большая пещера, образовавшаяся среди могучих глыб древних выветренных пород, слабо освещена жировым светильником и тлеющими углями костра. Вход сюда тесный и низкий, незаметный в тени темных елок, а в самой пещере просторно и свежо. Сквозь расселины уходит дымок от сухих дров и притекает свежий горный воздух.

Дно пещеры устлано хвойными ветками, поверх них набросаны домотканые ковры. На красных углях костра поджаривается свежина. Человек двадцать болгарских гайдуков лежат вокруг костра в ожидании трапезы. Пламя озаряет смуглые лица, черные усы, барашковые шапки, пистолетные рукоятки, сабельные клинки. Кто бруском натачивает лезвие кинжала, кто разбирает ружейный замок...

Трапеза окончена, и старший из воинов подзывает музыканта, просит его принести гайду *... Стихают и разговоры, и шорохи, только угли чуть потрескивают. Протяжный, мелодичный звук, похожий на пастуше-

* Гайда — духовой инструмент, наподобие волынки.

ский рожок, рождается под сводами пещеры, ему вторят певцы, и все мощнее, все громче гудит хор, аккомпанируя ведущему голосу певца-сказителя.

Слушает не наслушается российский странник! Одну за другой поют ему друзья-гайдуки старинные свои песни. Из них вот какая особенно запомнилась Василию:

Остался Димчо сироткой,
Без матери, без отца он.
Нанялся Димчо батрачить
У кади в городе Плевне.
И ровно девять годочков
Там прослужил, проработал.
Потребовал Димчо платы...
Ответил кади со смехом:
— Иди-ка, Димчо, работай!
Пока еще глуп ты, молод,
И кто это видел-слышал,
Чтоб кади платил бы деньги?
Обидно тут стало Димчо,
Он встал и ушел далеко,
Ушел он в троянские горы
И там во весь голос крикнул:
— Ой, где ты, Страхил, мой дядя,
Страхил, воевода грозный,
И где мне тебя увидеть,
Обиду мою поведать?..
Услышал Страхил-воевода
И молвил своей дружине:
— «Эй вы, дружинники-друзи!
Вы пояса затяните,
Готовьте ружья-кремневки,
Стяните лапти-царвули!»
Пошли они в город Плевну
И там изловили кади,
Тяжелой палицей били,
Ножам его кололи.
Страхил говорил дружине:
— «Берите, парни-юнаки,
Горстями себе червонцы!
Кровавые эти деньги
Награблены, силой взяты
У вдов, у сирот несчастных» *.

Несколько дней прожил Василий у болгар-гайдуков, хаживал с ними на охоту, хозяйствовать помогал, песни слушал и свои собственные приключения рас-

* Гайдуцкая болгарская песня «Страхил-воевода и плевенский кади» заимствована из академ. сборника «Гайдуцкие песни» и приведена здесь с сокращениями.

сказывал. Когда разведчики доложили своему предводителю, что путь в горах свободен и безопасен, предводитель юнаков велел Василию вновь наголо побрить голову, обрядиться в турецкую одежду и запомнить свое новое турецкое имя. Потом теми самыми «троянскими» горами, что воспеты во всех песнях про Страхила-воеводу, дружинники проводили путника в городок Тырново, обойдя тропами все опасные перевалы и турецкие заставы.

Долиной реки Янтры беглец спустился с гор и после долгого пешего марша увидел перед собою огромный водный простор, спокойный и голубой, как разостланная на земле шелковая ткань.

Российский странник вышел на берег Дуная 4 августа 1785 года и здесь... был опознан!

На счастье Василия Баранщикова, опознали его не турки, а «бывшие россияне, из прежних казаков-некрасовцев или булавинцев, кои живут по правому берегу Дуная, невдалеке от впадения в Черное море, своими домами, а число их великое. Султан турецкий берет с них десятину рыбой».*

Оказалось, что эти некрасовцы нередко посещали Стамбул, доставляя туда морским путем вяленую рыбу, мед, зерно и кожи на базар. Там, на российском Гостином дворе, они заметили Василия и теперь опознали его в турецком облики. Однако ни один некрасовец не выдал русского странника турецким властям, хотя Василий признался «бывшим россиянам», что бежал из Стамбула с превеликими опасностями. Рыбаки гостеприимно встретили беглеца, укрыли в селе, обещали помочь переправиться через Дунай, но уговаривали Василия отказаться от дальнейшего пути, поселиться здесь, на приволье, и оставить мысли о России, чтобы не нажить там себе новых бед и тягот.

Вечерами, сидя у казачьего камелька, слушал Василий рассказы этих людей. Деды и отцы их ушли в Турцию под предводительством атамана Игнатия Некрасы после подавления булавинского восстания

* Парафраз из «Нешастных приключений» В. Баранщикова.

донских казаков. Были они раскольниками-поповцами и поселились на Дунае отдельными деревнями. Села эти быстро пополнялись новыми жителями: с Украины, а также из Великороссии, бежали сюда все новые и новые крестьяне-раскольники, спасавшиеся от религиозных гонений и свирепой солдатской рекрутчины.

Но бежали сюда не одни раскольники. Ниже по течению Дуная поселились в этих же краях запорожские казаки, недовольные роспуском Новой Сечи. Молдаване и валахи называли некрасовцев «липованами», а запорожцев «руснаками». Между обеими группами переселенцев вспыхнула лютая, непримиримая вражда, доходившая до жестокого кровопролития — об этом с горечью рассказывали Василию старики-некрасовцы.

Баранщиков пытался убедить приютивших его некрасовцев воротиться на родину: дескать, всемилостивейшая государыня всем прощает старые вины и в Херсоне дает на поселение дом, лошадь, корову, овцу и несколько денег. А старики-деды, которые еще малыми детьми пришли сюда в 1709 году, только печально головами качали, слушая Васильевы уговоры.

— Нет, — говорили они, вздыхая, — хоть и тянет в родные края, да не забыты нам старые обиды, неохота шею совать в крепостное ярмо, а спину под плеть подставлять.

Один из этих дедов, девяностолетний старец Трофим, еще помнил страшный для казачества 1708 год. В тот год воевода Долгорукий расправился с непокорными казаками-булавинцами станицы Решетовой, так расправился, что до старости лет сохранил дедушка Трофим в памяти ряды виселиц, пламя пожаров и грохот ружейных залпов: это солдаты расстреливали пленных.

— И ты, когда пойдешь, добра не найдешь! — говорил старик Баранщикову. — Оставайся с нами, женим тебя, хозяйство завести поможем, без царицыных милостей.

— Спасибо на добром слове, дедушка! Только лучше уж пособите мне через Дунай перешагнуть. На родной стороне и бог помилует, а на чужой-то и собака тоскует. Три сыночка в Нижнем нове граде оста-

лись, и живы ли — не ведаю. Решил домой, не обесудьте. Есть ли у вас здесь досмотр турецкий на берегу? Или нет на переправу запрета?

— Бывает, осматривают. Да велик батюшка Дунай Иванович, не больно-то и надобно туркам за каждой лодкой смотреть. Ежели стоишь на своем — собирайся завтра в дорожку: поутру наши рыбаки в Журжево пойдут, на тот берег. С ними и переплывешь.

На другой день, 10 августа, переправили рыбаки-некрасовцы своего гостя на левый берег. Без всяких приключений дошел он до города Бухареста, пересчитал здесь остатки монет в кошле и решил поискать приработка. Вскоре узнал Баранщиков, что здесь, «в Букурештах, русские снимают подряды, делают мазанки, погреба для вин и другую тяжелую работу исполняют, до коей природные тамошние жители не охотники»*. В такую русскую артель плотников, каменщиков и землекопов Василий подрядился на две недели — строил погреб для местного винодела на окраине города. Артельщики звали Василия остаться с ними до зимы, сулили верный заработок, но как только кошелек нижегородца чуть-чуть потяжелел, он снова пустился в путь, на северо-восток.

Еще дважды пришлось наниматься на поденные работы, в Фокшанах и Яссах. Василию очень понравились эти города и сам валахский народ. С добрым чувством рассказывал потом Баранщиков о молдавском гостеприимстве и навсегда сохранил в памяти, как «молдаванцы переправили его через Днестр в местечке, называемом Сорока»**.

Ведь за Днестром — конец турецким владениям! Конец неотступному тайному страху — быть избитым и схваченным. Там, на северном берегу Днестра, начинается Речь Посполитая и живет православный малороссийский народ. Неужто подходит конец наитягчайшему мучительству и самым великим опасностям? Только бы напоследок не обмишулиться! К кому здесь за помощью, за советом обратиться? Как избежать роковой ошибки на пороге спасения?

* «Нешастные приключения», изд. III, стр. 68.

** Там же.

В местечко Сороки пришел Василий перед вечером. На оранжевом фоне закатного неба виднелась мрачная крепость. У самого берега Днестра, на небольшом взгорке, по углам правильного четырехугольника, высились круглые зубчатые башни, соединенные между собой неприступной каменной стеной. А на той стороне реки мирно зеленели над водой кустарники и паслось стадо. Вот она, воля, рукой подать, но...

На верху одной из башен, мелькая между зубцами, прохаживалась крошечная фигурка в белой чалме. Турецкий солдат, наблюдатель или часовой! Такую же фигурку разглядел Василий и на другой крепостной башне. Что же делать?

В стороне от крепости, вдоль плавной излучины реки, тянулись изгороди и белели домики поселка Сороки. Путник медленно брел по улице, смотрел на дома, на чужие лица. Кому довериться?

Вдруг он различил всплески весел и скрип уключин: с левого берега подходила лодка! Василий обогнул чей-то огород и задами выбрался к реке. Гребцы-молдаване удерживали багром у мостков большую лодку. Какой-то мальчик старательно черпал деревянным ковшом воду, набравшуюся на дне. Несколько молдаванских крестьянок и два пожилых поселанина сошли с мостков на песок, усыпанный ракушками.

К высадившимся приблизился турецкий стражник.

— Бумагу давай! Развязывай узлы!

Пока женщины сердито препирались с турецким солдатом, Баранщиков шепнул гребцам:

— Когда обратно пойдете?

— Сейчас. Мы с того берега, близ Ямпола живем.

— Ребята, возьмите меня с собой. Не говорите турку, что я чужой. Скажите, мол, лекарь, и вы должны доставить меня к больному. А солдату я покажу бумагу.

И Баранщиков отважился на риск — он развернул свой венецианский паспорт в надежде, что стражник не сумеет его прочесть. Когда стражник потребовал фирман от нового пассажира, Василий важно помахал великолепной бумагой с печатями, гербами, геральдическим львом и святым Марком, покровителем Венеции.

— Это — большой лекарь, из Кишинева. К больному везем! — заявили гребцы.

И турок уступил «врачевателю» дорогу к мосткам. Лодка закачалась, берег Бессарабии стал отдаляться. Вот и вся красивая излучина Днестра перед глазами, поселок и заречные холмы. Прошли стрежень реки с быстрым течением. Последний взгляд назад, на силуэт сорокской крепости и... здравствуй, берег желанной свободы!

Василий выскакивает прямо в воду. Помогает подтянуть лодку, обнимает удивленных гребцов и рукавом вытирает слезы с лица. Молдаванские перевозчики даже не захотели взять плату с этого странного путника.

Наличных денег хватило ненадолго. А погода подгоняла! Кончились теплые ночи, позволявшие ночевать хоть под открытым небом; дожди и дорожная грязь сменились морозцами; ветер свистел в облетевших ветвях, и лишь в погожие деньки бабьего лета, когда летающая паутина садилась на лицо, удавалось путнику делать большие переходы. Прекратились и случайные заработки, приходилось частенько пробавляться подаванием. «Многие не отвергали моего прошения, кто пищей, а иные деньгами», — вспоминал впоследствии российский странник.

Так дошел Василий Баранщикова до уманских владений графа Потоцкого. Под вечер спросил у встречного украинца, что за село впереди, получил ответ:

— Ладыжинка, на ричци Ятрани стойить, а до Умани-миста ще двадцять верстов.

Начинало смеркаться, моросил холодный дождик. Василий присматривался к хатам, нет ли где дымка из трубы. Опыт давно научил Василия не искать пристанища у богатых. Поэтому и здесь постучался он в окошко, затянутое бычьим пузырем вместо стекла. Пожилая крестьянка впустила его в дом, где Василий поздоровался еще с двумя женщинами, видимо матерью и сестрою хозяйки. Мать была очень стара, обеим сестрам перевалило давно за сорок.

— Ты близенько стань, божа людыно! — зашамкала старуха, порываясь встать с лавки, задвинутой за стол. — Часом нэ в Билу Церкву ты зибрався?

Василий помнил наизусть курьерскую маршруту. Он подтвердил, что дня через три, четыре доберется и до Белой Церкви.

— Ой! — закричала старуха дочерям. — Вы чулы? Що я вам казала, дурни дивчата? Дочекалысь, дочекалысь заступника. Садовить вэчэраты господню людыну. Це вин, вин, Ивана Гонты ридна дытына...

Обе дочери только хмурились и отмалчивались. А старуха, отпихнув стол, уже выбралась из-за него и бестолково суетилась в горнице. Одна из сестер не выдержала:

— Та посыдытэ вже, мамо, нэ хвылюйтэсь за доброго чоловика!

Незаметно она указала гостю на мать и покрутила пальцем около лба, дескать, не в своем уме старая. А та все старалась поцеловать у странника руку, тащила его под икону в красный угол и вдруг, словно вовсе позабыв о чужом человеке в доме, притопнула босой ногой, развела руками и запела, хрипло и низко:

А нам сотник Гонта папир от царицы дав,
Та й давши, нам всим в голос сказав:
Що цариця кошовому звэлила так служыты... *

Седые волосы женщины выбились из-под платка, глаза дико сверкали, она была страшна и жалка в своих отрепьях, босая, с костлявыми жилистыми руками. Приплясывая, она все ковыляла на глинобитном полу и вдруг, споткнувшись о домотканый половик, упала с жалобным криком. Дочери подхватили старую, поднесли к печи и приподняли на высокую лежанку. Коекак утихомирив безумную, они укрыли ее ветошью, и старуха, всхлипывая и кашляя, уже не порывалась больше вставать. Наконец она и вовсе затихла.

Старшая дочь, Мотря, поправила фитилек у лампы, добавила в нее гарного масла и собрала ужинать. За едой Василий спросил тихо:

— Кого она так ждет? За чьего сына меня посчитала?

Сестры переглянулись, вздохнули. Младшая вышла проведать скотину. Встала и Мотря.

* Подлинная песня гайдамаков в 1768 году.

— Про цэ пытаты нэ трэба. Нэ слухай ты иі, нэ-богу. Розума вона лышылась, колы батька нашого, чоловиків и трех братів...— Голос женщины осекся. Она принялась убирать со стола посуду и ложки, не глядя на своего гостя.

Василий тоже отошел от стола, перекрестился на икону и поклонился хозяйке. Он уже понял, что судьба привела его в семью, тяжело потрясенную огромной, непоправимой бедой. А женщина опять заговорила:

— Звидци в Кодну маты ходыла. Тамо, в Кодни, суд ишов, та нэ пустыв иі до сэбэ пан рэгимэнтар Стемпковский. Всэ бачыла вона своимы очима, и як тила их рубалы, и як вишалы. Ивану Гонти дванадцать рэмнив живого тила выризалы, на чотырнадцять шматків тило разрубалы, и в чотырнадцять городах на высэлыцю ти шматкы попрыбывалы. С того часу убогою стала...

— Мотря, а... за что так-то..?

Василий заглянул в глаза крестьянке Мотре. Они казались бесцветными, будто вылинявшими, как ее старая плахта.

— Для чего пытаешь? Чого прычэпывся? Ты що, з нэба звалывся чи вчора родывся? Лягай на лавку, спаты пора, кожух тобі дам, а пэрыны для гостэй нэ прыпасла.

Женщина сердито гремела рогаками, пролила воды на пол, ополаскивая глиняную миску, в сердцах швырнула на лавку овчинный тулуп, и вдруг, разрыдавшись в голос, сама упала на эту постель:

— Господы! До якого часу усэ цэ тэрпи́ты? Нэмае сылы бильшэ. Всэ сама та сама... Сама и за худобою, сама в поли, и в город на ярмарок и хату соломою крый, и за дровамы... Хиба цэ жи́ночэ дило? Пятнадцять роки́в так мучусь!

Василий подошел, тронул женщину за плечо.

— Не плачь, Мотря! Желаеть, я тебе какую хочеш мужицкую работу в хате сроблю? Только скажи, чего робить.

— А що робыты? Наробыш ты! А завтра сусиды скажуть: Мотря москаля приворожила. Иды подобру, коли ты — божа людына. Нашого горя ложкою нэ вычерпаешь, нэ вэчэря!.. Звидкы ты, бог тэбэ знае!

— Издалече. С Волги-реки, слыхала?

— То ты про нашего Гонту нэ чув, а мы вашего Пугача знаем. Вин, Пугач, на Волге ваших панив пугав, а в нас тут Зализняк та Гонта шляхту рубалы...

Отходчиво бабье сердце! Только что ругала Мотря «божьего человека», чуть со двора не погнала, а прошло полчаса, отлегло от сердца, и — нет уже ни ожесточения, ни злости! Когда вернулась в горницу младшая сестра, Мотря долго мешала ей уснуть — все говорила да говорила, толкуя страннику о наболевшем, о горькой своей крестьянской доле...

Вот что узнал от нее, а потом и от уманских жителей Василий Баранщиков.

Лет за семнадцать до его прихода в село стояли на Правобережье русские войска. По просьбе польского короля и сейма царица Екатерина прислала войска в Польшу, против фанатиков-конфедератов, захвативших город Бар близ турецкой границы. Потому и конфедерация стала называться Барской. Участвовали в ней крупнейшие польские феодалы-магнаты и их приверженцы. Они объявили войну сейму и королю, России и «диссидентам», то есть инакомыслящим, всем не католикам, жившим в Польше. Наиболее рьяно они стали преследовать православных, а православным было все украинское крестьянство в Польше.

Конечно смысл этих религиозных преследований заключался не в том, чтобы просто заменить церкви костелами, а попов — ксендзами. Паны-конфедераты хотели обратить закабаленных ими крестьян в католичество, чтобы подчинить своему духовному влиянию, сделать покорными, отвлечь от братской России, где православие было государственной религией. Украинцы-крестьяне надеялись на воссоединение с Россией и упорно отказывались от католичества. Конфедераты стали карать сопротивляющихся с небывалой жестокостью — убийствами, грабежами, пытками, вплоть до сожжения людей заживо. Эти бесчинства панов и шляхты вызвали взрыв народного негодования. Сотнями стекались в леса крестьяне-беженцы, жители сожженных конфедератами сел, беглые казаки, украинцы — солдаты польских войск и милиции, дезертировавшие от своих начальников. Прослышав о готовящемся восстании, прихлынули в Польшу отряды казаков из Запорожской Сечи. Тем временем

сейм и король обратились к Екатерине за помощью против конфедератов и повстанцев.

Собирал силы восставших бывалый запорожский казак Максим Зализняк в Мотронинском лесу. Отряды крестьянско-казацких партизан получили название гайдамаков. Переполнилась чаша народного гнева! В троицын день, «освятив ножи» в лебединском монастыре, гайдамаки выступили в поход против панов!

И тут, после первых побед восставших, в дело тайно вмешались польские иезуиты и подлили масла в огонь с целью натравить крестьян на тех, кто мог бы стать их союзниками. Иезуиты изготовили фальшивую «царицыну грамоту», в которой Екатерина будто бы призывала украинский народ истребить на всем Правобережье поляков и евреев. И когда украинская крестьянская война — гайдамацкая «колиивщина» разгорелась, когда угнетенный народ ответил колями на жестокости шляхтичей-конфедератов, подложный манифест ослепил обездоленных: пожар крестьянской войны охватил не одни панские поместья. Запылали беззащитные неукрепленные местечки и городки Правобережной Украины, полилась и невинная кровь польских горожан и крестьян, местечковых еврейских жителей, ремесленников, мелких торговцев. Хитроумная иезуитская провокация — распространение подложного манифеста — отводила удар от виновников — панов на головы польско-еврейского трудового люда, то есть на тех, кто мог быть заодно с восставшими. Так иезуиты сеяли рознь между населением Речи Посполитой, старались породить у поляков ужас перед Россией и вызвать ненависть к ней. Не скоро поняли люди эту подлую иезуитскую хитрость, поверили в «папир от царицы»!

Главный отряд Зализняка вышел из лесу в апреле 1768 года, прошел с боями Медведовку, Жаботин, Смелу, Черкассы, Корсун, Канев, Богуслав, Каменный Брод, Лисянку. В июне отряд подступил к Умани.

Город был сильно укреплен и оборонялся казацкой воинской частью — надворной милицией, созданной воеводой Салезием Потоцким. Обороной города руководил губернатор Младанович. Старшим сотником в этой конной части служил любимец воеводы, красавец и силач Иван Гонта, крестьянский сын из села

Россошки в уманском имении Потоцких. Молодые шляхтичи, заискивавшие перед воеводой, завидовали успехам Гонты и не доверяли ему, а Салезий, восхищенный удачей Ивана, осыпал его милостями.

Когда гайдамаки Зализняка приблизились к Умани, навстречу им губернатор выслал из города-крепости отряд милиции под командованием Гонты. И увидел Иван Гонта перед собою толпу земляков и единоверцев, босых, вооруженных кольями, оборванных и полуголодных. По ним нужно было стрелять, их нужно было рубить саблями во имя защиты польских панов и шляхты. Тут встретился с командиром надворных казаков и сам Максим Зализняк. Он показал Гонте «папир от царицы» и спросил:

— Против кого идешь, Иван, и кого защищаешь? Гляди, казак, бумагу — видишь, нас сама царица российская против панов послала? Русские войска недалеко, они придут нам на помощь. Одумайся, Гонта, прежде чем родную кровь прольешь!

И не поднял Гонта меча против крестьян и гайдамаков, а занес его над головами шляхтичей. Он повернул свой отряд и сам вместе с Зализняком двинулся против укрепленной Умани.

Три дня кипел непрерывный бой. Из города били пушки картечью, ружейные стволы слали пулю за пулей в ряды наступающих. Но яростный порыв восставших был сильнее смерти, и пали укрепленные пригороды Умани. Город остался без воды. Дравшиеся на бастионах утоляли жажду не водой, а вином, и, пьяные, падали в рукопашном бою. Губернатор Младанович после перехода казаков на сторону атакующих растерялся и считал сопротивление безнадежным. Обороной командовал талантливый инженер Шафранский, сумевший вооружить мужчин-евреев, беженцев, искавших спасения в городе. Они мужественно сражались и погибали с оружием в руках. Тем временем покинула город и еще одна группа «защитников» — немецкие кавалеристы. Из Пруссии прибыли в Умань «для ремонта», то есть для покупки лошадей, немецкие офицеры и солдаты. Расквартированные в городе, они отказались защищать жителей и тайком улизнули сквозь пролом в стене, не обращая внимания на просьбы губернатора поддержать оборону города.

На третьи сутки осады окончились у горожан пушечные заряды. И атакующие ворвались в город, вместивший всех беженцев с огромной территории Волыни и Подолии. Началась расправа *. Вместе с жестокими паннами погибли многие из тех, от кого восставшие могли бы получить помощь и поддержку в борьбе против угнетателей.

К победителям со всех сторон продолжали стекаться крестьяне-повстанцы. Теперь и Гонта показывал им «папир от царицы». Максим Зализняк был провозглашен гетманом. Он надеялся отвоевать у панов всю Правобережную Украину и воссоединить ее с Россией. Ивана Гонту он назначил полковником уманской казачьей части.

С тревогой наблюдала за событиями на правом берегу Днепра российская императрица Екатерина. Напуганные паны слали к ней гонцов и курьеров. Страшась крестьянской войны по соседству, царица вняла мольбам шляхты о помощи против гайдамаков: она объявила, что не призывает народ к восстанию, и приказала своим войскам в Польше подавить его. Генерал Кречетников отправил в Умань полк донских казаков под командованием полковника Гурьева. Крестьяне и вожди восстания были уверены, что полк явился на помощь народу против панов, на защиту правого дела. Вышло иначе: Кречетников и Гурьев заманили вождей гайдамаков в ловушку и схватили их. Максима Зализняка как русского подданного, равно как и других запорожцев, судили русским судом, били батогами, клеймили и сослали в Сибирь. А Ивана Гонту с товарищами, всего около девятисот человек, выдали польским панам.

Два года заседали комиссии и суды во главе с региментарием паном Стемпковским. Народное возмущение они залили морем народной крови. Казнь Гонты по жестокости превзошла все, что знала история палачества. Он же и с эшафота проклинал народных мучителей и

* В уманской резне, по свидетельству великого украинского поэта Тараса Шевченко:

«Не отвел мольбою гибель
И ребенок малый,
Ни калека и ни старый
Живы не остались».

Поэма „Гайдамаки“

встретил смерть как истинный герой. Много песен сложил о нем украинский народ, и долго еще ходила в народе легенда, будто остался у Гонты сын, и должен он прийти в Белую Церковь и снова собрать народ против панов...

— И твой муж, и батька, и братья — все были с ними? — спросил Василий у Мотри.

— А як же ж! — отвечала та с гордостью. — Пидэш коло Умани, то сам побачышь, дэ Зализняк и Гонта з нашыми хлопцями гулялы... Ну, трэба спаты, Васылю. Завтра иды з богом!

На другой день Мотря проводила Василия Баранщикова в дальнейший путь. Минуя Умань, Василий видел следы разрушений, хотя городские бастионы были давно восстановлены. С некоторыми жителями города он разговаривал. Опасливо озираясь, рассказывали ему горожане о пережитых треволнениях. Приметы недавних событий узнавал теперь Василий на каждом шагу.

В Белой Церкви на речке Рось он тоже встретил радушный и дружеский прием. Ему пришлось задержаться там — починить обувь и одежду перед морозами, у добрых людей в баньке попариться, а за это по хозяйству помочь своим благодетелям.

Прошел листопад, зима была уже на пороге. И вот в начале ноября 1785 года, после долгого пешего пути, увидел усталый странник придорожный шлагбаум и казенную избу на форпосте... Граница государства российского!

Комендант пограничного форпоста в старинном городке Василькове, основанном на реке Стугне еще князем Владимиром, секунд-майор * Стоянов заметил из окошка своей крошечной канцелярии чужого человека, одетого очень странно. Одежда его состояла из удивительной смеси греческих, молдаванских и русских вещей. Вел себя этот чужак тоже не обычно: отбежав от дороги с разъезженными колеями и подмерзшей лужей, он бросился ничком на бурую, посеребренную инеем траву, вытянул руки и прижался лицом к холодной земле, словно обнимая ее.

* До 1797 года офицеры, имевшие чин майора, подразделялись на две степени: премьер-майор и секунд-майор.



Стоянов долго ждал, пока пришелец поднимется. Но тот не скоро воротился на дорогу; приподнявшись с земли, он минут пять молился, стоя на коленях, часто осеняя себя крестом. Секунд-майор приказал солдату-писарю, находившемуся в другой комнате:

— Петрович! Ну-ка, сходи приведи ко мне этого богомольца. И крестится, и поклонами только что лба не расшибет, а сам больно на турчина смахивает. Черный, словно голенище, и башка, видать, недавно брита была. Давай-ка его сюда!

Странник назвался второй гильдии нижегородским купцом Баранщиковым Василием, а пашпорт предъявил на имя Николаева Мишеля, да и не один пашпорт, а два, на языках гишпанском и венецейском.

Все это лишь усилило подозрение секунд-майора. Оба паспорта он отобрал, коротко допросил Баранщикова — Николаева, покачал головой и велел писарю перебелить протокол, потому что от обилия в нем иностранных слов, наименований стран, городов и морей у секунд-майора в глазах зарябило. Затем он распорядился кликнуть двух солдат. Придирчиво осмотрев их выправку, треуголки, косицы, мундиры, сапоги и скомандовав «на караул!», прочитал им приказ — доставить

задержанного в Киев, в военную канцелярию наместника, генерал-поручика Ширкова.

Отправив конвой, секунд-майор пошел к себе на квартиру в городок, велел подать обед, доставленный из трактира (комендант был вдов), и за неимением других слушателей рассказал денщику о приключениях купца Баранщикова. Солдат слушал с превеликим вниманием и подобно начальнику своему качал головой, а на вопрос: «Как полагаешь, много ли в гистории сей он наврал?» отвечал резонно: «В Киеве небось разберутся, каких кровей он, однако, ежели и вполправды токмо гиштория сия, и то удивления достойна, тем паче, что прелестями чужими человек пренебрег и домой возвернулся».

— Так ты считаешь его заслуживающим похвалы? — спросил комендант.

— Так точно, ваше благородие, — убежденно отвечал денщик, принимая тарелку. Комендант не высказал окончательного суждения о купце-страннике, отослал солдата на кухню и задремал в кресле с потухшей аршинной трубкой между коленями.

Однако через два дня, когда конвоиры вернулись в Васильков, секунд-майор понял из их устного доклада, что правитель киевского наместничества генерал-поручик Ширков отнесся к Баранщикову именно так, как предвидел денщик. Наместник выслушал Василия с большим интересом и оценил его возвращение на родину как патриотический поступок. Он собственноручно подписал ему российский паспорт и на дорогу пять рублей золотом пожаловал. Оба же заграничных паспорта, отобранных у купца, и протокол допроса, снятого секунд-майором Стояновым на Васильковском форпосте, генерал Ширков велел отправить почтой правителю нижегородского наместничества Ивану Михайловичу Ребиндеру, генерал-губернатору, орденов российских кавалеру.

Васильковский комендант выслушал конвойных на дворе. Во время доклада он сосредоточенно жевал сухую травинку.

— Стало быть, его превосходительство отпустил нижегородца домой?

— Так точно, ваше благородие, и чертеж-маршруту выдать приказал ему. Напоследок сказывал нам ниже-

городец-купец, что домой пойдет через Нежин и Глухов — до Орла, там — до Москвы. А уж от матушки, от белокаменной, до Нижнего — через Владимир-град стольный, да через как его... Муром, что ли... Оттуда ему недалеко, от Мурома-то.

— Гм, — сказал комендант. — Сколько ж ему туда пешком добираться от нас?

— Шагать он горазд, за ним не угонишься, ваше благородие, да одна беда; денег у него маловато. Где заработает, а где и попросит. Домой-то без гроша в кармане прийти тоже несподручно. Потому, месяца три ему шагать.

— Ну, ну! — задумчиво протянул комендант и вдруг строго посмотрел на одного из солдат. — Вот штык у тебя, Пономарчук, ржавый и кокарда не чищена. Непорядок!.. Так, говорите, дойдет нижегородец за три месяца домой?

— Беспременно дойдет, ваше благородие! — в один голос отвечали оба служивых.

ЗАИМОДАВЦЫ И ДОЛЖНИК

Старая посадская сплетница Домаша и жена торговца рыбой Фекла — ближайшие родственницы заимодавцев Василия Баранщикова, сгинувшего банкрута. Феклин муж давал ему сорок пять, Домашин сын, купец Иконников, сто рублей. Да еще купчиха Федосова за ним шестьдесят целковых числит.

Домаша и Фекла задумали доброе богоугодное дело: зайти к соседке, нищей вдове Баранихе, подсказать ей, что у Федосовой, купчихи, муж вот-вот преставится. В синем федосовском доме за церковью Спаса гробовщики с утра все крыльцо истоптали — заказа ждут, мерку снимать. Должно, в скорости плакальщицы потребуются, сама-то купчиха не горазда в голос выть, да и некогда ей, баба хитрая, в деле поболе старика своего смыслит, уж который год за него в лавке стоит. Люди состоятельные, достаточные, похороны будут большие, на весь посад. И лучше Баранихи нет во всем околотке плакальщицы. Баба извелась, ее хлебом не корми — дай повыть, а дома-то нельзя, потому ребятишки еще малые, одному восемь, другому семь, — уж больно пугаются, как

завоеет по этому, по пропащему своему Василию. Так уж пусть сходит к Федосовой-то, душу отведет, в голос наплачется, и бабе облегчение, и ребятишкам, глядишь, с поминоков куты принесет.

Теперь только двое мальцов у бабы осталось, меньшинького-то в запрошлом году господь прибрал, померло дите от глотошной. В нищете такой — бабе облегчение, а она, дура, с неделю ревела, да не напоказ для соседей, а потихоньку, сами слышали! Уж скоро седьмой год пойдет, как Василий пропал, ограбили его, вишь, на ярмонке пьяного, потом было одно письмо из нерусской земли и — поминай как звали. Небось и косточки сгнили. А уж баба измучилась, двоих растя! Сперва было братья помогали, Баранщиковы, потом один уехал, другой помер — осталась баба ни с чем...

...Марья Баранщикова уже два года как заколотила двери ко двум большим комнатам, бывшей гостиной и спальне их с Василием, и перебралась в столовую, рядом с кухней и чуланом. Теперь в этой столовой лавка колченогая, стол да Марьиная кровать, прикрытая вместо одеяла старой попоной от Савраски; уж и дух-то конский давно из нее вышел. Ребятишкам в кухне на печи тряпье стелет. Весь дом отапливать — где дров возьмешь, тем более, дом починки требует, из щелей ветры дуют. В горнице Марьиной ни рушничка цветного, ни скатерки, ни занавески на обледенелых окнах, но у порога — мешок старый, ноги вытирать; пол, хоть и некрашенный, выскоблен, как лавка в бане. В красном углу — икона, благословение родительское, и лампада теплится вечерами. Да ноне масло гарное на исходе, днем приходится гасить лампаду, а то ночью, впотьмах, больно страшно одной.

На стене еще висит под стеклом гильдейное свидетельство Василия от нижегородского магистрата, а на другой, напротив — немецкая картинка под названием «От чистого сердца». Изображено на ней, как девочка, вся в беленьком, подаёт из окна милостыньку мальчику-нищему, такому чистенькому-чистенькому; а седой дедушка-крестьянин всплакнул от умиления. Картинку эту привез Василий жене с первой ярмарки после свадьбы, и висит она чуть менее десяти лет, потому что нынче, 23 февраля, ровно десять лет, как Марья на «сговоре» впервые поцеловалась с Василием. Свадьбу-

то сыграли после вскорости... Господи, а сейчас хоть бы горсть муки ребятишкам раздобыть, на масленой им блинка испечь! Разве позовет кто в доме убраться, полы мыть, или стирать... Да вот, слышно, идут, верно, соседки за ней!

Пока Фекла толковала Баранихе — дескать, не прозевай, ступай к Федосовой купчихе, поклонись да подольстись, чтобы не забыла тебя позвать, — Домаша оглядывалась и принюхивалась: не пахнет ли съестным в доме, нет ли, мол, у бабы доходу неизвестного... Яшка с Колькой, худые, всклокоченные, так и стреляют глазами с печи, бесенята! Что из них будет с безотцовщины-то?.. Хоть и не баловные Марьины ребята, не попрошайки, не воришки, а чему доброму из нищеты такой вырасти? Да и за самой, за вдовой-то, глаз да глаз нужен! Худа и бледна Марья, а все еще хороша собою: мужики засматриваются на стройную соседку, долго ли до греха?

Марья смиренно просит соседок посидеть еще, не уходить; одной ей — тоска глухая, но... в горнице так холодно и неуютно, на столе — шары гоняй, с печи, рядом, голодные глаза блестят, да и компания ли им, купчихам, нищая вдова!.. И соседки важно удаляются, еще раз напоминая «не упустить случая». А у Марьи на этот раз и сил-то нет идти да проситься голосить по чужому. Может ли быть горе беспросветнее, чем ее собственное, а и на него слез больше не остается.

Господи, еще несет кого-то во двор... Снег под ногами скрипит, и собака соседская залилась. Это у Иконниковых... Свою отвязала, и цепь продала: нечем пса кормить стало! Осталась пустая конура во дворе: увязался Полкан за каким-то обозом и пропал... Или соседки возвращаются? Нет, один кто-то прошел... Батюшки, грех какой! Никак мужчина стучится? Ну, дожила Марья до великого сраму! Что делать-то? Опять стучит: уже посмелее да погромче, охальник!

— Кто там? — Марьин голос выдает страх и волнение. Господи, да еще и Яшка на беду не спит... А оттуда, снаружи, негромко в ответ:

— Откройте, Марья Никитична! Гость к вам дальний. Или, может, вы не одни в доме? — тогда прощеньица просим.

Да кому же это быть? Или деверь издалека...

— Мамка, открывай, стучат! Или не слышишь, мамка? Пусти его, мамка!

Эх, была не была!..

Запоры в Марьином доме сохранились еще те, что заказывал кузнецу Василий: задвижки пудовые, кованые, дверь дубовая, скрепленная тремя схватками, такую и ломом не скоро отворишь! Дескать, коли такие засовы — есть у купца в закромах что беречь! Всем соседям видать — в достатке купец! И Марья все годы одиночества строго блюла порядок, заведенный при муже, — задвигала засовы. И теперь долго возилась у двери с тяжелыми щеколдами, стараясь угадать, кто он, тот, что переминается с ноги на ногу, поскрипывает снежком на крыльце...

Вошел, наклоня голову: ход-то черный, притолока низкая (чистые сени заколочены стоят)... От ворвавшегося в кухню морозного воздуха метнулось пламя в лампадке, тени закачались по стенам, никак не разглядишь, знакомый или чужой... Высок, плечист, одет не по-русскому, вроде бы татарин, и волосы коротко острижены. Лицо темное, загорелое, а борода русая... Мешок за спиной... Палка в руке... Странник божий, что ли?

— Марьюшка, аль признавать не хочешь?

— Батюшки светы! Царица небесная!.. Вернулся! Сам! В день сговора!

И Василию пришлось подхватить обеспамятевшую на миг жену. Он бережно поддержал ее, ослабевшую, потрясенную, бессильно клонившуюся к нему на плечо, а сверху, с печи, звучал деловитый, еще хрипловатый басок восьмилетнего:

— Колька, да Колька же! Глянь-ка, к нам тятя пришел! Слышишь ты, дурень, Колька? Проснись! Тятка с мешком пришел!..

Наутро соседка Домаша пришла поторопить Бараниху к Федосовой, но так и не достучалась. Никто не откликнулся, дом словно вымер, хотя по следам во дворе видно было, что ночью брали дрова из поленицы, запорошенной свежим снежком. Над печной трубой веял теплый пар, во дворе пахло печеным хлебом, а вдова, наверное, так умаялась у печи, что белым днем уснула и стука не слышит. Чудно!

...Угостивши семью тем, что сумел припасти в дороге, Василий Баранщикова с утра явился в полицию,

объявил себя живым и воротившимся, и вот тут-то и начались самые горькие для него злоключения!

Письмо из киевского наместнического правления с приложением обоих паспортов и протокола допроса было получено в Нижнем Новгороде еще в ноябре прошлого года: курьер доставил его спустя две недели после перехода Василия через российскую границу, Василий же одолел этот путь за два с половиной месяца. Генерал-губернатор нижегородский и пензенский, Иван Михайлович Ребиндер, человек добродушный, щедро осыпанный царскими милостями, заранее распорядился, чтобы к нему привели Василия Баранщикова, «буде только тот явится в сие правление». В прошлом ловкий русский дипломатический агент в Данциге, кого тщетно пытался подкупить, а затем скомпрометировать прусский король Фридрих II, екатерининский царедворец, помогавший возвести ее на престол, нижегородский наместник Ребиндер пытался кое-что делать и для улучшения вверенного ему города и в общем-то не оставил о себе у горожан недоброй памяти. Но прочтя письмо Ширкова из Киева, губернатор бросил его в стол, где оно и пролежало до появления в городе самого Василия Баранщикова; видимо, никому даже в голову не пришло уведомить семью о предстоящем возвращении «сгинувшего банкрута».

Василия Баранщикова привели в дом губернатора прямо из полицейского участка, на другой же день после возвращения, 24 февраля 1786 года, в странном дорожном наряде. Другого у Василия пока не было.

Иван Михайлович слушал героя необычайных походов более двух часов. Губернатор сидел в кресле без мундира и парика, расстегнувши ворот белоснежной рубашки, обшитой брюссельскими кружевами.

— Как же, братец, тебя жена вчера встретила? Как жила-то семья все эти годы без тебя?

— В самой сущей бедности, ваше превосходительство, даже в нищете. Жена с двумя детьми на руках маялась, третьего же лишилась на пятом году его жития.

— Обрадовалась она тебе, семья твоя?

— Жена, ваше превосходительство, и не сразу признала. Сами видеть изволите: платье на мне странное, и волосы еще маловато отросли на бритой голове.

— А как пригляделась и узнала, что же потом было?

— О том, сударь, какая радость потом была, изречь трудно: оную чувствовать и изъяснить только тот может, кто сам бывал в подобных обстоятельствах.

— Это ты, братец мой, справедливо заметил... Стало быть, семью свою в сущей бедности обрел? На-ко, спрячь покамест эти пятнадцать рублей, пригодятся на первый случай... И, говоришь, недоимки за тобой числят много? Кому да кому должен, а?

— Магистрат городской требует с меня за шесть лет гильдейные подати, шестьдесят два рубля будет, да трем купцам по закладным должен двести пятнадцать рублей, а всего у меня долгов обществу и магистрату двести семьдесят семь рублей.

— М-да, это деньги немалые! Рад бы тебе помочь, Баранщикова, чтобы магистрат платежи отсрочил, пока снова ты на ноги не поднимешься, но... магистрату я приказать не властен. Советую тебе, братец мой, попросить наших добрых граждан, кои еще в 1611 году по примеру купца Минина высокое бескорыстие и гражданскую добродетель проявили, чтобы они покамест избавили тебя от уплаты по закладным, а также податей гильдейных.

— Попытаю, ваше превосходительство, да сумнительно, чтобы отсрочку мне у них выпросить... Что ж, дозволейте мне теперь назад в полицию пойти?

— Да, да, для порядку протокол нужно про тебя составить, это верно. Пусть-ка там кто пограмотнее из писарей садится протокол писать, передай им, что я, мол, сам так велел. Только вот что я тебе скажу: когда будут с тебя допрос снимать, нечего тебе во все подробности вдаваться, что ты мне здесь рассказывал. О приключениях твоих надлежит особо написать, а полиции до них дела нет. Расскажи там коротко, самую суть, безо всякого там магометанства, без турецких твоих походов... И совет еще один дам тебе.

— Извольте дать, ваше превосходительство, постараюсь исполнить.

— Ты — грамотей великий или нет?

— Читать, писать — обучен, но не часто в нашем деле надобность в грамоте случается. На то приказчики... А коли прикажете — могу почерк показать.

— Не в почерке дело... Сумеешь ли ты сам описание приключениям твоим сделать? Чтобы коротко те страны, где побывать довелось, а также все бедствия и несчастия свои живописать и неуклонное свое стремление на родину изъяснить с усердием? Сумеешь ли сие?

— Не приходилось столь много писать, ваше превосходительство, но коли приказываете, могу попытаться.

— Не приказываю я тебе, а совет даю. Если описание составишь, найди грамотея — набело переписать, а потом издателя сыщешь и книжонку тиснешь. Уж там насчет бусурманов... не скупись на краски, понял! С такой книжицей, особливо ежели удастся ее отпечатать в столичной типографии, чтобы вид изящный имела, можешь в Санкт-Петербурге все богатые дома обойти, как, бывало, в Стамбуле хаживал, — тебе, шельмецу, не привыкать! Придешь к какому-нибудь вельможе, поклонись, книжечку ему почтительно — раз! А он тебе за книжечку из кармана — на! Может быть, снова на ноги и станешь.

— Премного благодарен, ваше превосходительство, да как бы мне в Петербург попасть? Кредиторы не пустят, где там!

— А ты их обойди, братец ты мой. Эх, всему-то тебя учить надо, а еще купчина! Ты сходи к преосвященному нижегородскому, он тебя на покаяние церковное к митрополиту Гавриилу пошлет, зане с грехом твоим ни один поп без соизволения духовной консистории к причастию тебя не допустит. Отпросишься в Санкт-Петербург, покаяние в лавре отбудешь — а тем временем дела своего не прозевай. Ну, ступай с богом, и не ленись, берись-ка за перо да бумагу. Польза будет!

Выйдя из губернаторского дома обнадеженным, Василий направился в полицию. Канцелярист-грамотей из отставных ротных писарей дотемна строчил с его слов трехстраничный допрос.

Воротясь домой, Василий застал в горнице своих кредиторов. Самый богатый из них, Домашин сын, купец Иконников, лениво прохаживался по кухне и столовой, заткнув пальцы за кушак на животе и присматриваясь к доброте рубленых стен. Феклин муж, рыбо-торговец Фирин, щедушный и рябой, притулился на лавке и рассматривал картинку «От чистого сердца». Картинка его растрогала, а вот воротившийся с того

света прошельга и его нищие отпрыски, напротив, раздражали и на грех наводили. Отсутствовала только почтенная купчиха Федосова, занятая похоронами усопшего супруга.

Дородный Иконников, расхаживая по горнице, прикидывал, что домик стоит не меньше как две сотни рублей, а по своей нужде Василий отдаст его сейчас за полцены, коли он, Иконников, не проворонит. Самая ранняя по сроку закладная — у него. Стало быть, с ним с первым и расчет. Как-никак соседнее владение, можно сад свой расширить, да и домик, коли починить да покрасить, славный — вон, даже Волгу видать из окошка. Коли сына женить — можно будет этот домик в приданое выделить, для начала — под боком родительским парень будет.

Василью-то самому теперь не выкрутиться, за долги пойдет либо на казенные харчи, либо в работы сошлют, куда-нибудь на соляные варницы горе мыкать, либо во все в рекруты... На варнице будет по двадцать целковых в год отрабатывать, пока не сгинет. В Балахне, на соли, мало кто больше двух-трех лет выдерживает... Значит, Марьюшка-то — заново вдова... Ее с детишками покамест можно и в доме оставить, вырастут бесенята, еще благодетелем почитать будут, работники готовы даровые. Бабонька-то, если приодеть, гм... ишь, раскраснелась, будто яблочко спелое. И стройна, и черноока, а улыбнется — что рублем подарит.

Эти дремотные мысли настроили Иконникова на благодушный лад, и он ободряюще похлопал по плечу вошедшего Василия Баранщикова. И хотя наступил уже вечер, хотя Марьюшка из сил выбилась, чтобы сварить мужу и гостям настоящий обед, труды ее пропали даром: кредиторы, опасаясь вновь упустить должника, потребовали от магистрата его немедленного ареста и сами повели Василия на съезжую, к великому ужасу и неописуемому стыду Марьи Баранщиковой.

И пришлось ей еще горше, чем прежде, — каждый день по соседям побираться, щи да кашу Василию в узелке носить в ожидании дня «совестного суда».

Полтора месяца продержал магистрат Василия Баранщикова в «долговой яме» и... просчитался жадный кредитор Иконников! Магистрат в первую очередь сам истребовал недоимки по гильдейным платежам, выкупив

у Василия домишко за ничтожную цену — сорок пять рублей ассигнациями. Значит, за тридцать целковых серебром ушел родительский рубленый домик в четыре окна на улицу! Когда Василий покрыл этими деньгами часть государственных недоимок, магистрат освободил его из-под стражи. Но уж тут на должника набросились частные кредиторы, озверевшие от злобы. Они немедленно вновь упекли Баранщикова за тюремную решетку и оставались глухи ко всем увещаниям.

Целый год почти просидел в долговой тюрьме нижегородец-странник, и вынес ему суд беспощадный приговор: за долги в сумме двухсот тридцати двух рублей отдать его, Василия Баранщикова как банкрота на балахнинские соляные варницы в казенные работы по двадцать четыре рубля в год вплоть до полного покрытия долга. Это было равносильно медленной смерти на соляной каторге, которая мало отличалась от испанской «миты»...

После суда и приговора к десятилетней каторге Василия вновь отвели в тюрьму ожидать исполнения судебного решения. Из тюремной камеры он обратился к купеческому обществу и магистрату с таким прошением:

«Не видав же он, Баранщиков, жену и детей свыше слишком шести лет, пришед в свое любимое отечество Россию, презирая все опасности и даже самую смерть, соблюдая веру христианскую, памятуя жену и детей, воззывает он к своим нижегородским гражданам, чтобы они вняли гласу закона и приняли во уважение истинные и неоспоримые бедности и несчастий его доказательства и свидетельства:

1. Пашпорта гишпанский и венецианский.
2. Заклеймения на острове Порто-Рико, на море и потом в Иерусалиме.
3. Шесть лет препровождения без жены и детей в крайней бедности.
4. Что говорит по гишпански, по итальянски и по турецки и что столь простому человеку научиться сему в скорости невозможно.
5. Что сего 1787 года наступил святой великий пост, а он, Баранщиков, сидит в магистрате под стражей и что уже определение подписано, чтобы отдать его на соляные варницы в Балахну.

6. И что просит городского магистра, чтобы ему позволение было хотя выисповедаться и причаститься христовых тайн, но ни один из священников церковей нижегородских, хотя он и явно приносил свое покаяние, исповеди его не мог принять потому, что он был в магометанском законе...»

...Последний довод, остроумно подсказанный Василию наместником Ребиндером, оказался спасительным! Сам Иван Михайлович поручился перед обществом за возвращение Баранщикова. Генерал-губернатор выдал Василию паспорт на дорогу, а епископ нижегородский собственноручно вручил рекомендательное письмо к митрополиту новгородскому и санкт-петербургскому Гавриилу, купно с пятью рублями серебром на пропитание в пути.

И вновь снаряжала Марьюшка своего горемычного супруга в путь-дороженьку. Несчастливая женщина, изгнанная с детьми из своего дома, нашла приют в семье какого-то чиновника, который взял ее в услужение. В отведенной ей комнате Марья кое-как ютилась с обоими мальчиками. Чиновник доставал ей листы писчей бумаги, на которой Василий Баранщиков, сидя в холодной камере долговой тюрьмы при магистрате, начал писать свои «Нешастные приключения».

Марья навещала мужа, утешала, приносила убогие гостинцы и за этот, 1787 год извелась хуже, чем за все шесть предыдущих лет своего мнимого вдовства.

Мужнины писания она время от времени приносила домой. Показывала своему барину, и тот, исправив грубейшие ошибки, снова отсылал листы узнику для переписки. И к тому времени, когда пришло Василию разрешение отправиться на покаяние церковное к высшему духовному сановнику Российской империи митрополиту Гавриилу, описание «нешастных приключений» было вчерне закончено. Даже прошение свое к нижегородскому магистрату успел переписать Баранщиков в эту рукопись.

В марте 1787 года, выйдя из тюрьмы, Василий Баранщиков опять простился со своей многострадальной семьей, поцеловал Марьюшку и тронулся пеш в новую дорогу — сперва ко граду первопрестольному, а далее в Северную Пальмиру, столицу российскую, славный город Петров.

«НЕЩАСТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» И ЭПИЛОГ К НИМ

Матрос забыл чужбины берег дальний,
Тяжелый труд и странствий бег печальный.

А. Мицкевич

Тысячеверстие снегов и талых вод, дорог и тропинок, чужих углов и невеселых дорожных раздумий — снова позади.

В конце апреля Василий увидел перед собою в предвечернем тумане длинные ряды осветительных плошек и фонарей знакомого проспекта. Обогнув здание Адмиралтейства, узнал Василий на площади перед Сенатом смутные очертания гранитной скалы-волны. Только высился теперь над скалою бронзовый всадник, осадивший стремительного своего коня на самом гребне утеса. Василий снял шапку и поклонился всаднику.

Не задерживаясь на людных улицах, перешел он по мосту Неву-реку и добрался до Охты. Сторож знакомой верфи компании российской Бороздина и Головцына пояснил пришельцу, что на верфи спущено новое судно и «шкипором» пойдет на нем старый моряк российский Иван Афанасьев сын Захаров.

— Неужто Захарыч? — с радостью воскликнул Баранщиков. — Боцманом на судах компании лет, поди, тридцать ходил?

— Он самый, — подтвердил сторож. — Да вот и он как раз в контору жалует с корабля!

Так бывший матрос Василий Баранщиков встретился со своим старым боцманом, и эта встреча избавила Василия от поисков жилья и стола: Захарыч приютил нижегородца в своем домике, в Матросской слободе. Это была первая удача питерской экспедиции Василия.

На другой день переправился он с Малой Охты на Калашниковскую пристань, зашел в Александро-Невскую лавру, узнал, что преосвященный владыка Гавриил сможет самолично принять его на той неделе, и отправился далее на Невскую перспективу поглядеть на Гостинный двор.

Медленно брел он по великолепной улице, казавшейся ему и теперь, после того как он объездил пол-

мира, самой величавой и прекрасной улицей на свете. За семь лет она стала еще лучше. Случайно бросилось ему в глаза такое объявление:

«На Невской першпективе, против Гостиного двора, суконной линии, подле аптеки, в доме Венкера, под номером девять, в новозаведенной книжной лавке у купца Ивана Глазунова продаются книги — «История Миллота» и прочие».

Имя купца Глазунова Баранщиков вспомнил сразу, но не петербургского, а московского, Матвея.

Василий ясно помнил московскую книжную лавку Глазуновых на Красной площади, близ Покровского собора, что на рву и зовется церковью Блаженного Василия.

Купцам Глазуновым Василий Баранщиков привозил тонкую кожу для переплетов. Ведь московские переплетчики прославлены на всю Россию. Даже из Питера везут в Москву книги в переплет.

В Москве лавка Глазуновых стояла на самом Спасском мосту, что перекинут через ров с водой от Покровского собора к Спасской башне. Другой каменный арочный мост для проезда в Кремль был у Никольской башни*.

Все эти мысли и воспоминания о прежних своих занятиях, встречах и знакомствах смутно мелькнули в сознании Василия Баранщикова, пока он брел вдоль Гостиного двора.

Оказавшись против аптеки, он поднял голову, и взгляд его упал на вывеску: «Книжная торговля Ивана Глазунова».

Зайти, что ли? Здесь хоть человеком меня, может, припомнят...

В лавке было тихо и тепло. С первого взгляда на хозяина, еще молодого, энергичного и спокойного мужчину, Василий узнал его — это был младший брат Матвея-книготорговца, Иван Петрович Глазунов, только возмужавший. Василия он не вспомнил, но приветливо заговорил с ним. Он рассказал, что намерен не только заниматься книготорговлей, но и типографию свою за-

* Мосты эти существовали в Москве на Красной площади до 1813 года, когда Красная площадь подверглась реконструкции, глубокий ров был засыпан, а мосты — Спасский и Никольский — снесены.

вести, как только средства позволят. Затем Иван Петрович осведомился о делах Василия, прежнего поставщика фирмы московских Глазуновых.

Василий вздохнул и начал рассказывать. Сперва Иван Петрович слушал из одной вежливости, затем повествование заинтересовало его, а заключительную часть, насчет цели прибытия в Питер, он попросил изложить точнее. Наконец он спросил:

— Так рукопись, вами написанная о ваших приключениях, у вас сейчас при себе? Позвольте мне взглянуть, велика ли она.

Нижегородец достал из сумки свои писания, занимавшие около полусотни страниц, испещренных с обеих сторон крупным, неровным почерком. Иван Петрович со вниманием углубился в рукопись. Он листал страничку за страничкой, изредка делал одобрительные замечания, качал головой и только было намеревался высказать Василию свое окончательное суждение, как дверь лавки широко распахнулась и вошел человек в добротной шубе, собольей шапке и тонких дорогих сапожках, подбитых мехом. Он сам прикрыл дверь, сберегая тепло, и Василий заметил, что на улице у самой лавки стоит крытый маленький возок на железном ходу, с рессорами.

Иван Петрович поклонился вошедшему дружески и почтительно.

— Почтение мое Захару Константиновичу, — сказал он, ставя перед гостем стул. — Не угодно ли раздеться и ко мне в заднюю комнату пожаловать? Там теплее, и книжки есть, для вас отложенные нарочно.

— Временем нынче не располагаю, Иван Петрович, другой раз посидеть зайду. А что касемо до книжечек, что вы мне нарочно отложили, — примите за то наи-сердечнейшую мою благодарность и извольте-с показать! Люблю сочинения чувствительные, чтобы слезу, благодетель мой, вышибало.

— Извольте посмотреть Николая Федоровича Эмина сочинение «Роза», повесть очень чувствительная.

— Это Федора Эмина сынок? Знаю его, но, скажу вам, Иван Петрович, до отца ему далеко! «Мирамонда похождения» — вот книга была истинно занимательная. А эти, нынешние... не то! Одни сентименты резона-

бельные. Поищите, благодетель, что-нибудь редкостное, чтобы вроде «Мирамонда» было. Вот уж этим бы разодолжили!

— А вот, Захар Константинович, сам «Мирамонд» перед вами стоит и такое сочинение принес, что, ежели напечатать, мигом расхватают, три издания выпустить можно. И что главное — без вымысла истинные несчастные приключения нижегородского мещанина. Чувствительная будет повесть, но надобно еще сочинителя более умелого сыскать, чтобы повесть маленько подправить, а то сам-то наш «Мирамонд» — из купцов и не горазд на сочинительские тонкости.

— Кто сие? — шепнул Василий Ивану Глазунову. Тот всплеснул руками.

— Захар Константинович! Сей провинциал не ведет, какую встречу ему фортуна уготовила.

— Так вот, Василий Яковлевич, — обратился Глазунов к Баранщикову, — перед вами почтеннейший друг семейства моего Захар Константинович Зотов, лицо, приближенное к самой государыне, а точно сказать, ее величества камердинер. Его, почитай, вся столица знает, равно как сам он знает в столице всех *. Вот уж коли он что-либо присоветовал бы в вашем деле, то можно заранее льстить себя надеждой на успех.

— Что же вам посоветовать, молодые люди? — в раздумье сказал Зотов. — Сочинителей преславных я, правда, знаю немало и к иным мог бы и с просьбицей подойти... Для примера, вот хоть бы к Гавриле Романовичу или Денису Ивановичу... Эх, жаль Александр Петрович Сумароков богу душу отдал, царствие ему небесное! Он-то частенько со мной душевно беседовал, раньше у нас ведь попроще было... Только, ежели я правильно суть дела понял, вам желательно книгу тиснуть

* Личная дружба Ивана Глазунова (впоследствии издатель Пушкина) с Захаром Зотовым сыграла положительную роль для русского книгоиздательского дела. В 1792 году эта дружба помогла предотвратить полный разгром издательств и книготорговли: именно Зотову удалось смягчить гнев напуганной императрицы и отговорить ее от предания суровым карам книготорговцев и издателей, повинных в распространении новиновских книг, когда сам Новиков уже стал узником Шлиссельбурга. Отвел Зотов удар и от Ивана Глазунова, которого подвергли допросу в связи с выпуском вольнолюбивой трагедии Княжнина «Вадим».

с обозначением имени вашего и звания купеческого, так ли?

— Точно так. Мне эдак сам наместник нижегородский посоветовать изволил...

— А, его превосходительство Иван Михалыч, как же, прелестно его знаю!.. Раз он посоветовал, стало быть, нечего нам преславного сочинителя и в мыслях держать. Станут ли, к примеру, Державин или Фонвизин книжку чужую выпускать? Вестимо, нет! Тут нужна рука иная... Где вам, государь милостивый, побывать случалось?

— В трех частях света побывал: в Европе, Азии и Америке даже, паче же всего в Турции претерпел...

— В Турции? Сие знаменательно! И отменно, смею доложить! И человека знаю подходящего, чтобы вам с сочинением помочь, только вот фамилию его запомнил, Рагожин, Рогозин, Распопов... Постой, постой, не то Семен Климыч, не то Сергей Кузьмич... Нет, государи мои, не припомню, да оно и не беда! Вспомним и разыщем его, сие не трудно. В писатели небось ни вы, ни он определяться не захотите? Вам-то, Василий Яковлевич, это вообще не с руки, а он — порядочный молодой человек, личной канцелярии чиновник, хоть и не из высоких. Перышком-то он для препровождения времени побалывается, это нам доподлинно известно-с, а в сочинители, конечно, пойти не пожелает, будущность у него хорошая, портить ее себе не станет. Вот он-то и может вашу рукопись исправить и к печатанию сделать весьма пригодной.

— Почел бы я сие за великое благодеяние, токмо чем же я благодетеля отблагодарю? Ведь он на службе состоит, стало быть, временем дорожить обязан.

— О сем не тревожьтесь, времени перышком поскрипеть чиновник изыщет. Он будет рад себя развлечь и человеку доброму помочь, уж я замолвлю словечко... И, мыслю я, немалая польза может быть ныне из книжечки сей. Я разумею пользу общую, не только вашу, милостивый государь!

— Что-то невдомек мне, батюшка, кому от книжки, кроме как мне самому, польза проистечь может.

— Вы, милостивый государь мой, давно из Турции воротились?

— Да уж полтора года.

— А там будучи, ничего не чуяли?

— Уж не насчет ли тучи, от коей дождя и грому не миновать? Мне о сем курьер российский еще толковал. Да ведь вроде обошлось... без грозы?

— Гм, кабы обошлось!.. Да нет, гроза-то собирается: как мы — бородавку с носа долой, так с той поры султан воду мутит и мутит! * Вот посему и может быть от вашей книжечки польза. Только надобно, чтобы издание сие было простонародным, дабы и мещанин, и купец, и обыватель, и барышня городская могли прочитать с удовольствием про злодейства ихние и про безвинные страдания, вами претерпленные.

— Истинная правда, Захар Константинович, книжечка получится самая полезная по нынешнему времени, — сказал Глазунов. — И всенепременно мы ее тиснем, когда вы соблаговолите сочинителя уговорить. Только типографии своей у меня пока нет, придется господ Вильковского и Галченкова просить об издании.

— О том уж ваше дело помыслить, Иван Петрович, а сочинитель, почитайте, есть уже у вас.

Проводив Зотова, Иван Петрович Глазунов принялся за подсчеты. Получилось, что если все пойдет хорошо и хозяева типографии ради богоугодной цели согласятся на льготные условия, то для выпуска тиража потребуется две-три сотни серебром и полгода кроку.

— Что вы, Иван Петрович, — ахнул Баранщикова, — я полмесяца здесь едва дотяну, не то, что полгода! Поймите, благодетельный вы человек, в каком бедствии семья обретается! А сам я — к каторжным работам осужден, коли правдиво сии варницы балахнинские назвать. Нет, куда мне полгода ждать! Неужто побыстрее нельзя тиснуть?

— Тиснуть! Сие дело — не малое. Тут у вас не менее семидесяти страничек печатных получится, да, может, сочинитель добавит, вернее сказать, не сочинитель, а как у нас говорят, редактор. Хорошему фактору, если потрудиться на совесть, — неделя рабо-

* «Бородавкой на носу России» Потемкин называл крымского хана, подвластного турецкому султану. Освобождение Крыма русскими войсками в 1784 году послужило причиной русско-турецкой войны 1787 года.

ты только набрать и сверстать. Да перечитать и исправить — глядишь еще неделя. Потом штук пятьсот листов чистых отпечатать — тоже день, другой потребно, с просушкой. Сфальцевать, сиречь по сгибам согнуть, обрезать — еще неделька. А в переплет, сами знаете, — в Москву везти.

— Неужто здесь переплетчиков нету?

— Есть, да дороги, и той работы, как московские, не дадут. А по вашим-то видам нужно, чтобы книжка получилась чистенькая... Самое дорогое — переплет. Ну, да потолкую со своими знакомыми. У них типография в Аничковом доме, господа Вильковский и Галченков. Может быть, они согласятся не весь тираж переплетать, а сперва с полсотни штук мне для лавки, чтобы хоть несколько расходы покрыть, а вам, чтобы высоким особам представить, тоже десятка два-три... Вот тогда, может быть, и дело наше выйдет быстрее. Обо всем том мне еще с типографами толковать надлежит. Что ж, заходите через недельку-другую, а рукопись у меня оставьте, чтобы Захар Константинович мог ее своему чиновнику поскорее передать. Желаю вам покамест всяческого благополучия!

Срок церковного покаяния, наложенный на Василия Баранщикова митрополитом новгородским и Санкт-Петербургским Гавриилом, слывшим великим праведником, окончился 7 мая 1787 года. Отбыв «в посте и молитве» в стенах Александро-Невской лавры эти десять покаянных суток, Василий Баранщиков получил билет духовной консистории «о прощении вины и отпущении грехов по причащении святых тайн и сердечной исповеди».

К этому сроку рукопись Баранщикова уже была исправлена и немного переделана тем самым чиновником, которого решил использовать для этой цели Зотов. Чиновник не оставил потомству полного своего имени, и лишь его инициалы С.К.Р. сохранились на первом издании «Нешастных приключений». После литературной обработки истина и вымысел смешались в рукописи, как вода с вином. Неведомый благодетель Баранщикова, придав рукописи более литературный стиль и поотняв у нее достоверности, тща-

тельно изъяснял из нее всякие намеки на «пугачевщину», — в ней не осталось ни клефтов, ни гайдуков, ни гайдамаков, и даже упоминания о «святом деле» греков звучали весьма туманно. Осторожный чиновник знал требования своего начальства и очень хорошо учитывал вкусы возможных благодетелей Баранщикова! Сам редактор тоже пожертвовал некоторую сумму на ускорение издания.

Теперь, после отпущения грехов Василию, к рукописи спешно добавили страничку о крайне бедственном положении героя книги, а также его несчастной семьи. Эта скорбная концовка первого издания книги гласила:

«И он остается по претерпении злоключений и несчастий в Америке, Азии и Европе в подобных обстоятельствах и в отечестве своем и угнетается крайней бедностью».

Наборщики и печатники потрудились на славу. Через несколько дней после сдачи отредактированной рукописи в типографию Вильковского и Галченкова петербургский полицмейстер Андрей Жандр выдал издателям установленное цензурное разрешение на выпуск книжки под таким названием:

«Несчастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света, Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 год».

Книга вышла летом 1787 года и приобрела популярность, на которую Баранщиков не смел и надеяться! В глазуновской лавке она шла нарасхват, и причиной тому были новые грозовые тучи на турецком горизонте. Султан предъявил России неумеренные требования — отказаться от всех плодов победы в предыдущей кампании. Принять такой ультиматум Екатерина не могла, и русские войска вновь приводились в боевую готовность.

В августе сбылось пророчество российского дипломатического курьера, снабдившего Василия чертежом маршрута: русский посол в Царьграде Булгаков был заключен султаном в Семибашенный замок, и новая война разыгралась...

Бойко продавалась книжка о «Несчастных приключениях» бывшего турецкого невольника! И когда скромно одетый Василий Баранщиков, уже отослав-

ший домой некоторую сумму денег на покрытие долгов и выкуп отчего дома, являлся с экземпляром свежотпечатанной книги в приемную какого-нибудь сановника империи, рассказ его выслушивался с благожелательным интересом и вознаграждался новым пожертвованием. Ведь книжка попала, что называется, в самый кон! Она как нельзя лучше годилась для обработки общественного мнения, а ее автор и герой неожиданно вошел в моду, превратившись на короткий миг из пасынка фортуны в ее баловня.

Вот — лишь одна из тогдашних петербургских встреч Баранщикова...

Президент Академии художеств Иван Бецкой* недавно отстроил для себя новый дом-дворец на Невской набережной по соседству с Летним садом, недалеко от старого своего особняка. Оба эти дома, и новый, и старый, знал весь Петербург: императрица Екатерина Вторая со свитой бывала здесь в гостях и даже изволила отобедать у Бецкого перед отбытием своим за границу, во Фридрихсгамн, для встречи со шведским королем. А десятилетием раньше в старом доме Бецкого весь двор пышно праздновал заключение с султаном Махмудом Третьим Кючук-Кайнарджийского мира, теперь грубо нарушенного преемником Махмуда, султаном Абдул-Гамидом Первым.

Много народу сбегалось поглазеть на картины и статуи, когда их перетаскивали из старого дома в новый дворец. Но особенно прославился новый дом-дворец удивительным висячим садом. Раскинут был этот сад на плоской кровле двухэтажного корпуса, увенчанного по углам двумя башнями. Фасад корпуса выходил на Царицын луг (Марсово поле). При закладке сада сотни бадей с черноземным грунтом были подняты блоками на трехсаженную высоту. Потом садов-

* И. И. Бецкой был крупнейшим деятелем просвещения в России XVIII века. По его планам созданы воспитательные дома в Москве и Петербурге, а также несколько мужских и женских учебных заведений закрытого типа (в том числе Смольный институт). Из этих закрытых заведений должны были выпускаться, по замыслам Бецкого, «честномыслящие люди новой породы», не затронутые воздействием скверностей окружающей жизни.

ники высадили здесь красивые кусты и деревья, разбили цветники и куртины. Летом в сад выносились в кадках пальмы, индийские фикусы и прочие заморские диковины. Сад во дворце Бецкого должен был воскресить и оживить предания о вавилонских висячих садах царицы Семирамиды.

На высокое крыльцо этого дома сентябрьским утром поднялся в нерешительности, держа плоский сверток под мышкой, Василий Баранщиков. Лакей во французской ливрее открыл стеклянную дверь, другой лакей повел смущенного Василия в глубину полутемного вестибюля с высокими колоннами. На одном из кресел Василий узнал по золотой застежке знакомый темно-зеленый плащ президента Комерц-коллегии графа Миниха, сына фельдмаршала. Значит, его сиятельство самолично замолвит перед богачом Бецким словечко насчет денежной помощи нижегородскому мещанину, стойко выдержавшему на чужбине жестокие испытания, а ныне вдобавок выпустившему полезную книгу.

Слуга проводил Баранщикова в приемный зал перед парадным кабинетом. В доме пахло красками и лаком, откуда-то доносилось постукивание молотков: отделка здания только заканчивалась. Со стен на посетителя глядели улыбающиеся лица двух императриц — покойной Елизаветы Петровны и ныне царствующей Екатерины.

Василий не отважился воспользоваться ни одним из трех десятков стульев, обитых розовым шелком, а стал тихонько бродить по залу, где воощеный пол блестел так, что нижегородец видел свое отражение на паркетных плитках. От нечего делать он разбирал по складам французские надписи под бюстами, расставленными по углам залы: Монтень, Монтескье, Руссо, Вольтер. Последний будто подмигивал Василию, язвительно ухмыляясь змийными устами. Имен этих мраморных господ Василий никогда прежде не слышивал.

Вправо и влево от приемной тянулась анфилада таких же высоких парадных покоев. Василий видел зеркала, фарфор, бронзу, мрамор, лепные потолки. Было трудно представить себе, что в этом огромном дворце живет с челядью, один-одинешенек, полуслепой старик, чьи сокровища уж и не радуют его, не

могут развеять его тоски. Баранщикова знал от петербургских знакомых, что старик Бецкой недавно покинут юной воспитанницей, страдает от разлуки с нею, оставил придворную жизнь, теряет остатки зрения и медленно умирает в своем роскошном и пустынном дворце.

Тем временем в приемную воротился давешний слуга, сопровождаемый гайдуком в позументах, с серебряным подносом в руках.

— Позвольте-с книжечку, вами принесенную!

Василий развернул сверток. Там была книга и список жертвователей, чьи дома он уже успел посетить. Гайдук, держа поднос с маленькой книгой и списком перед собою на вытянутых руках, величественно поплыл снова в глубину анфилады. Василий, робея, подумал:

— Уж коли слуги таковы, каков же должен быть сам хозяин? Кто их знает, господ этих важных с их причудами. Ведь, рассказывают, барин-то здешний — чудак, право слово!

И почти сразу же Василий увидел гайдука. Тот уже не плыл, а стремительно бежал назад, с пустым подносом в руке. Запыхавшись, он проговорил:

— Его превосходительство с графом в висячем саду. Просят вас туда, наверх-с!

Баранщикова не успел даже пересчитать покои, которые он миновал почти бегом. По мраморной лестнице поднялись на второй этаж. Наконец, из-за бархатной портьеры блеснул яркий солнечный свет, показалось синее небо, и Василий увидел себя... не то на Босфоре, не то в Венеции, среди лавров, пальм и красивых цветников.

По узкой дорожке, присыпанной желтеньким песочком, прогуливались хозяин и гость. Над их головами плыли облака в петербургском небе. Вдоль каменной баллюстрады разрослась стена зеленых кустарников. Она защищала от ветра нежные экзотические цветы, и в глубине сада, под деревьями, сгустилась устоявшаяся, недвижно жаркая тень. Хозяин был без парика, в длинном халате с кистями, гость по-домашнему снял кафтан и разгуливал в камзоле. По одному взгляду на них можно было определить, что эти люди знакомы друг с другом давно и близко.



Граф Миних подозвал Баранщикова. Бежкой через лорнет разглядывал только что поданную ему книгу. Он держал ее у самых глаз, но и сквозь сильные стекла не мог, видимо, разобрать даже крупной печати титульного листа.

— Ну, здравствуй, Мирамонд-путешественник! Рассказал мне заступник твой, а мой лучший друг и в горестях утешитель Иван Христофорович* твою

* Настоящее имя Миниха-старшего — Бурхард Христофор. В России его звали Христофором Антоновичем. Поэтому сына его, Иоганна-Эрнеста, именовали Иваном Христофоровичем.

несчастную историю. Говори по совести: много ли присочинил?

Баранщиков засмеялся.

— Коли соизволите прочесть книжку, ваше превосходительство, сами убедитесь, сколь мало в ней вымысла. А сколько забыто и умолчено — то господи веси!

— Самому прочесть? Эх, брат, прошло времечко! Бывало, я государыне все книжки на сон грядущий читал, а ныне — глазами слаб; иные мужи, стало быть, читают теперь ее величеству... Но я велю, велю непременно, чтобы на ночь мне сочинение твое прочитали. Граф сказывал, будто ты и по-французски выучился? Ну-ка, граф, давайте устроим сейчас экзаменационный акт! Сразу видно станет, достоин ли сей Мирамонд помощи! Тю а фризе ла корд, не с па?

— По-французски не больно горазд, но понимать могу. Изволили заметить, что я смерти счастливым манером избежал.

— Примерно так. Ну, а в итальянском — ты мастер? Изъясни-ка нам с графом, что там на картине перед входом в сад изображено. Ведь самому такое испытывать приходилось, не так ли?

— Точно так! В темницах пришлось побывать. Изобразил живописец цветение весны, из тюремного окна зримое. По-итальянски так скажу: ла примavera ведута да уна пригнионе.

— Изрядно! Слышали, граф? Вот оно, наше третье сословие, разумное, природными талантами награжденное щедро, а правами политическими, гражданскими — скудно! Много ли, сознайтесь-ка, получило мещанское сословие от «жалованной грамоты городам»? Да оно и по сию пору немногим отлично от крестьянства! Стало быть, по-прежнему на Руси остаются два сословия — дворяне и крестьяне. Неправильно сие! Надобно растить третье сословие граждан российских, вот таких, как сей мещанин. А мы норовим мещанина, чуть что, с мужиками в тюрьму, на соль, на каторгу! Возьмите для примера хоть вон его гишторию! — Бецкой указал на Василия. — Разве сыщется дело, к коему вот этот Баранщиков не способен? Глядите: ведь он и жомы-мельницы в Америке налаживал, и сапожки турецкие не хуже мастеров турецких

шил, и на море, никогда в глаза его прежде не видевши, первым матросом стал токмо удалю своею российской! А как языки чужие схватил без гувернеров и без розог?! Вот из таких и должно быть у нас третьему сословию! Где вы его подобрали, граф?

Миних самодовольно потер руки.

— Давеча Яков Александрович Брюс мне книгу его показывал и ко мне самого автора прислал. Помочь ему просил. Три часа я слушал его историю и не устал слушать! Книга его столь же занимательна, как и устное повествование.

Граф Миних говорил по-русски неторопливо, но без заметного немецкого акцента. Тем временем солнышко перевалило за полдень, деревца в саду давали уже мало тени, граф потел в своем пудренном парике. Обмахиваясь палым листом фикуса, Миних продолжал:

— Граф Строганов будто бы самой государыне об этой книге за картами рассказал. Ее величество изволила улыбнуться амурным похождениям сего героя и графу Строганову пальчиком пригрозила. Посему именитые дамы и фрейлины двора книжку на другой же день потребовали. Но автор ее в нужде обретается: теперь, по совету графов Брюса и Строганова, жертвовательный лист открыт, с коим на руках сей бедствующий литератор к нашим меценатам обращается.

— Стало быть, книга при дворе уже известна? Занятно! Извольте прочитать мне, граф, чьи же имена означены на жертвовательном листе.

Иоганн Миних взял у Баранщикова лист и, пропуская второстепенные имена, стал читать вслух лишь знатнейшие. Бецкой кивал головой.

— Да ты, брат, успел пол-империи полонить! Шутка ли! Граф Брюс, Яков Александрович. Слышал о нем? Недавно войсками московского гарнизона командовал, да не прижился в Москве, суров очень и сух. Упросил государыню, чтобы она его в Петербург отозвала. Теперь — член совета по турецкой кампании, ведь он когда-то крепости брал турецкие, отличился и при Ларге, и под Кагулом. Дальше кто там? Ага, Воронцов, Александр Романович. Сенатор и бывший президент Комерц-коллегии. Скажи-ка, брат, не встре-

тился ли тебе в доме графа Воронцова близкий его друг, Александр Радищев, забыл, как его по батюшке, начальник петербургской таможни? Либеральнейший господин, и учен, умен!

— Не припомню, ваше превосходительство.

— Ну-ка, читайте, кто там следующий! Анна Родионовна Чернышева? О, сиятельная графиня, фрейлина двора... Ах, скажи, сам Александр Сергеевич, граф Строганов! Большой ценитель искусства, собиратель коллекций вроде меня и, главное, лицо, приближенное к самой государыне... Иван Михельсон? Правду сказать, сей генерал от кавалерии против пруссаков отличился, а с Пугачевым еле справился, лавров долгоныко не мог обрести! Митрополит Гавриил... Иван Иванович Шувалов тоже в списке! Мальчиком его помню, бывалый царедворец, у двух императриц доверие заслужил! Впрочем, довольно, надоело! Но, скажите, граф Миних, почему же собственная ваша фамилия сей лист еще не украсила, коли книгу при дворе одобрили? Ведь и сами вы, Иван Христофорович, сочинительству не чужды, и превратности судьбы вас не обошли, также и батюшку вашего, как, впрочем, в некотором роде, и моего... * Вам здесь, граф, бесприменно тоже расписаться надлежит!

— После вас, ваше превосходительство! — засмеялся Миних. — Не по чину мне опережать Ивана Бецкого в таком деле, как благотворительность!

— И, полно вам шутить, граф! Ну, да бог с вами, пишите сперва меня. Дескать, вот вошел в компанию и Иван Бецкой с улыбкой уж не молодецкой!

Старик положил руку на плечо Василию Баранчикову.

— Занятно мне еще потолковать с тобою, путешественник! Скажи: чью роскошь ты находишь великолепнее, петербургскую или стамбульскую? Где убранство дворцовое тебе более по душе, у нас или там?

— Может, я не так скажу по невежеству своему, — подумав отвечал Василий, — однако, сдается мне, что

* Отец Бецкого, фельдмаршал И. Ю. Трубецкой, находился в шведском плену в начале XVIII в. Там в 1703 или 1704 году и родился внебрачный сын его И. И. Бецкой. Граф Миних, как и отец его, фельдмаршал Миних, провел около 20 лет в северной ссылке, где написал интересные «Записки для детей», изданные лишь в XIX столетии.

роскошь тамошняя хоть и пышна, но токмо для изнеженного тела владельца служить пригодна.

— Ну, а у нас?

— У нас? Да вот хотя бы этот дворец взять. Здешняя роскошь не для тела, а более для души пищу дает. Способна она не единую токмо душу хозяйскую услаждать, но и иных людей радовать, коли они сюда допущены будут для обозрения сих богатств.

— Гм! Вы вникли, граф, в его суждение? Если его развить — мысль сия весьма демократическая и даже... небезопасная, памятуя о крайностях, угрожающих аристократии во Франции. Ну, да ладно! Лучше расскажи, какое ты у себя в Нижнем Новгороде хозяйство заведешь, когда голову из петли вынешь. Вот этим не думаешь ли заняться? Ведомо тебе сие золотое дно?

Неожиданно дав беседе с Баранщиковым совершенно новое направление, старик Бецкой засеменил к башне. Баранщиков и Иоганн Миних заторопились следом за хозяином. Слуга распахнул входную дверь, открылась большая комната, хорошо освещенная двумя окнами.

В глубине комнаты топилась печь со вмазанным в нее котлом, похожим на банный. Трубы от котла шли в массивный деревянный ящик. Слуга подвел Баранщикова к ящику, и сквозь круглые отверстия в стенке ящика Василий разглядел множество пушистых желтых шариков с бусинками глаз: только что вылупившиеся цыплята! Слуга приподнял крышку ящика и прищелкнул языком, мол, какое диво! Гордый хозяин стоял поодаль, у дверей, ожидая обычных похвал своему нововведению.

— Без наседки вывелись, понимаешь, брат! Паром, теплом! Каждому мужику такое устройство доступно. Монарх французский лишь мечтал, чтобы у его подданных был бы ежедневно суп с курицей на столе, а Иван Бецкой устройство придумал, чтобы королевскую мечту в явь обратить! Заведешь у себя паровую наседку, а? Постой, постой, а сей дар природы тебе ведом?

Баранщиков увидел в кадке тутовое дерево, или шелковицу. Она прекрасно разрослась под петербургским солнцем и в зимнем комнатном тепле. На листьях шел-

ковицы Василий заметил несколько коконов шелкопряда.

— Ну, что скажешь об этом дереве? Видеть прихотилось его?

— В Турции такие деревья во множестве разводят, червей же шелковичных там на дерево не пускают, ваше превосходительство, а листьями сорванными кормят. Доход большой получают от торговли шелком, но, думается, у нас холодно для этого дерева.

— Верно, все верно, путешественник! Ты и природу наблюдал, это похвально, и я тебя, брат, полюбил! Ступай теперь! Пора домой, к делу, к семье. Полно по столицам пороги обивать. От долговременного ига нищеты и позора будешь избавлен. Только уж вдругорядь с чужеземными хватами поосторожнее себя держи, коли опять повстречать случится. Ну, прощай, Мирамонд!

Первое издание «Нещастных приключений», сохранившее на титульном листе инициалы С. К. Р., за которыми скрылся литературный редактор и соавтор Баранщикова, разошлось в считанные дни, а спрос на книгу среди петербургских читателей рос. Издатели Вильковский и Галченков, посоветовавшись с Иваном Глазуновым и самим Василием Баранщиковым, решили немедленно повторить издание и добавить к нему более подробные сведения о Турции по личным впечатлениям Василия Баранщикова.

«Скорбную» концовку первого издания спешно переделали на благополучную. Поместили список высоких особ — благодетелей героя книжки. Скопировали клейма на теле Василия Баранщикова и поместили литографию с клеймами в конце книги. А главное, дополнили книгу «Прибавлением, заключающим в себе описание Царь-града и Турецких начальников духовных, воинских и гражданских».

Это любопытное приложение, составленное по непосредственным стамбульским наблюдениям Баранщикова, еще более повысило интерес читающей публики к «Нещастным приключениям»: ведь уже с 13 августа грохотали пушки, и в дыму кровопролитных сражений солдаты Суворова прокладывали себе путь в бессмертье

через брешы турецких крепостей. Сведения о противнике читались с жадностью!

Второе издание «Нешастных приключений» появилось в продаже сразу после начала военных действий. Василий Баранщиков отправился из Петербурга в Нижний Новгород уже не пешком, а в почтовой кибитке, захватив с собою экземпляры первого и второго изданий книги.

В следующем, 1788 году Баранщиков неожиданно получил из Петербурга по почте небольшую денежную сумму — это издатели прислали ему гонорар за новое, по счету третье, издание, в точности повторившее текст второго. А еще через пять лет сам Иван Глазунов в типографии Б. Л. Гека переиздал книгу четвертый раз*. Это последнее издание 1793 года носит на титульном листе помету: «*изддивением И. Г.*».

Инициалы И. Г. принадлежат Ивану Петровичу Глазунову, одному из первых петербургских книготорговцев, основателю большой российской типографии, где впоследствии был впервые издан полный текст «Евгения Онегина». Иван Петрович — прямой прапрадед композитора А. К. Глазунова, создателя «Торжественной увертюры» и «Раймонды»...

Так, четвертым изданием книги, завершились «нешастные приключения» российского странника, нижегородского купца Василия Баранщикова. Это скромное имя благодаря книжке, выпущенной по его письменному рассказу, вошло в число имен российских литераторов восемнадцатого века.

Однажды в весенний день 1794 года на старинном земляном валу уездного города Балахны, что на Волге, рабочие одной из семидесяти двух соляных варниц города заметили плечистого рослого человека в хорошей русской одежде. Незнакомец, как поднялся на вал, не-

* Распространенное и до сих пор никем не опровергавшееся мнение о трех изданиях книги Баранщикова ошибочно. В настоящее время Отдел редких книг Государственной Исторической библиотеки в Москве смог собрать экземпляры всех четырех изданий «Нешастных приключений». Очевидно, Иван Глазунов, не зная о третьем (или так называемом новом) издании, ошибочно назвал свое, четвертое по счету, — третьим. Эта ошибка издателя с тех пор и бытует в русской библиографии.

когда служивший городу защитой от татар, так и замер на нем, неотступно разглядывая работы на варнице.

Скрипучим ручным насосом качали из буровой скважины по круглой долбленной колоде-трубе соляной раствор. Другими насосами, а то и бадьями раствор поднимали на градирни, чтобы испарением сгустить соль. Зимой, когда испарение шло слишком медленно, раствор просто вымораживали — незнакомец на валу видел перед собой выстланные досками лотки, откуда полунагие рабочие лопатами выбирали грязную, загустевшую за зиму жижу.

Вываривали соль в медных и чугунных котлах. Под ними раскладывали дымные костры. Иные котлы вмазаны были в кирпичные печи.

Работали здесь колодники, крепостные мужики, сосланные за провинности, осужденные пугачевцы, неисправные должники, упеченные кредиторами на эту каторгу; полтора-два десятка рублей в год получали за них заимодавцы в счет долга. Были здесь и старые мастера солеварения, потомки тех новгородцев с берегов Ильмень-озера и Волхова-реки, кого переселил сюда Иван Третий по усмирении Новгорода Великого. Эти ссыльные переселенцы и наладили здесь, в Балахне, добычу соли из природных растворов. Мастеров берегли и работой не переутруждали.

Между работающими людьми прохаживались надзиратели, мастера и солдаты. Человек на валу поманил к себе надсмотрщика и сверху спросил, нельзя ли видеть кого-нибудь из здешнего начальства, поважнее.

— Что угодно? — сухо спросил какой-то чиновник, проходивший мимо. Незнакомец проследовал за ним в контору, где с час толковал с самым главным мастером, начальником надо всеми работными людьми на варнице.

Когда незнакомец удалился, старший мастер велел солдату привести к нему шестерых нижегородцев, осужденных за налоговые недоимки.

— Собирайте-ка ваши вещички да ступайте по домам, — сказал мастер пораженным недоимщикам. — Благодетель тут для вас сыскался, покрыл ваши недоимки сполна... Ну, чего глаза на меня выпучили? Аль не поняли? По домам, говорю! И больше сюда, смотри, не попадай!

— За кого же нам богу молиться, ваше благородие? — спросил старший из освобожденных.

— А про то он и знать вам не велел. Вроде бы ему такое видение было, будто сам он на эти варницы за долги осужден. Ну, стало быть, немедля и прикатил. Для его пары серых двадцать четыре версты от Нижнего до Балахны — пустое дело, разогреться не успели... Говорит, в Санкт-Петербурхе у него в четвертый раз какая-то книга, божественная, что ли, печатается, деньги ему прислали за нее, вот он эти книжные деньги за вас и внес, пожертвовал Христа ради... Аль по соли соскучиться опасаетесь? Ступайте подобра-поздорову!

— Гляди-кось! — заговорили освобожденные недоимщики все разом, оказавшись за дверью конторы. — Стало быть, выходит, что даже от господ сочинителей и то кое-когда народу польза случается.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Повесть о страннике российском» написана Р. А. Штильмарком по материалам весьма интересного документа 80-х годов XVIII века — книги «Нешастные приключения» Василия Баранщикова, книги, рассказывающей об удивительной судьбе простого русского человека, скитавшегося семь лет по разным частям мира, — то на островах Вест-Индии, то в различных странах азиатского и европейского Присредиземноморья.

Книга Василия Баранщикова представляет большую ценность с географической стороны как документ, дающий сведения о странах, в которых побывал ее автор, о их природе, населении, о торговых связях, существовавших в ту эпоху. Столь же интересна она в других отношениях — историческом и литературном.

В этой книге рассказывается о европейце-христианине, попавшем в руки мусульман и вынужденном ради спасения жизни отречься от своей веры и принять магометанство, а подобные факты составляли одно из примечательных явлений в истории соприкосновения народов Европы и Азии еще со времен арабских завоеваний в Северной Африке и на Пиренейском полуострове, столкнувших испанцев с маврами; еще большее распространение получили они позднее, в XVII—XVIII веках, когда руководящая роль в мусульманском мире перешла к туркам.

В книге рассказывается о судьбе европейца, ставшего невольником в чужой стране, а подобные факты входили в содержание истории XVII—XVIII веков как одно из следствий «второго рождения эпохи рабства — рабства плантационного, которое по своему масштабу чуть ли не превзошло рабство древнего мира; на невольничьих рынках Нового Света появились при этом

не только африканцы, но и белые люди из европейских стран; так, например, было во французской Луизиане, где местные плантаторы покупали рабочих из числа своих же сородичей, осужденных судом метрополии и сосланных «в колонии» подобно тому, как раньше ссылали «на галеры». Это явление представляло тогда в наиболее обнаженном виде особенности экономической и социальной системы того времени, особенности, приведшие в конечном счете к ее кризису.

В книге Баранщикова рассказывается о случае пресловутой рекрутчины XVII—XVIII веков, то есть о вынужденной самопродаже или насильственном обращении в солдаты молодых, физически сильных людей, а такая рекрутчина характерна для той эпохи, когда старая система формирования вооруженных сил путем выставления феодально-обязанными землевладельцами солдат из числа зависимых от них крестьян удерживалась еще только в отсталых странах, новая же система, основанная на всеобщей воинской повинности, еще не возникла даже в передовых для того времени государствах.

Рекрутчина была связана со всем комплексом экономических и социальных отношений, характерных для европейских стран эпохи феодального абсолютизма.

В книге рассказывается о превращении несостоятельных должников в особую категорию невольников, направляемых на особо тяжелые работы, а это явление связано с особенностями привлечения рабочей силы для эксплуатации природных ресурсов и для развития промышленности, особенностями, крайне характерными для эпохи, когда новые для того времени капиталистические социально-экономические порядки сосуществовали рядом со старыми, феодальными.

В книге отражено и начавшееся тогда ослабление могущества «Блистательной Порты» — Османской империи, захватившей во времена своих победоносных завоевательных походов обширные пространства Азии, Африки, Европы. Одним из признаков такого ослабления был кризис военной мощи, основанной на распадавшейся военно-ленной системе, кризис, вынудивший правителей к формированию особых «преторианских» частей в виде янычарских полков, то есть обращению к методам той же рекрутчины, соединяющейся в Турции со старой традицией использования покоренных или захваченных чужестранцев в качестве солдат. Признаком ослабления Османской империи было и растущее самоуправство покоренных турками арабских вождей и правителей, утвердившихся в завоеванных ими когда-то странах Северной Африки. Попытки арабских вождей Египта

вообще сбросить с себя власть султана, разбойничанье алжирских и тунисских корсаров — этой грозы всей средиземноморской торговли — составляет одно из важнейших явлений не только турецкой, но и мировой истории того времени. Еще более важное значение имела начавшаяся тогда борьба поработленного турками христианского населения Балканского полуострова — греков, болгар, сербов, молдаван, валахов.

Повествование книги затрагивает и Украину начала 80-х годов XVIII века. Этим рассказ вводится в орбиту крупнейших исторических событий, связанных с процессом роста Российской державы в ее борьбе за выход к Черному, а оттуда к Средиземному морю; с процессом превращения России из государства народности в государство нации, с консолидацией в своем составе этнически близких или исторически давно связанных народностей, в свою очередь развившихся в нации.

Такое простое перечисление тем книги о злоключениях нижегородского купца показывает, что в ней затронуты, пусть и отдельными штрихами, многие из самых важных явлений истории Европы XVIII века, и это делает «Несчастные приключения» Василия Баранщикова документом весьма интересным с исторической стороны.

Книга эта столь же интересна и со стороны литературной; интересна тем, что в ней большой и разносторонний исторический материал показан на судьбе одного человека — не «героя», а «жертвы» эпохи. Возможно, что так оно и было, что один и тот же человек действительно на самом себе испытал все «прелести» своего времени. Но, если рассказ о злоключениях Баранщикова исторически действителен, это лишний раз доказывает, что кусок самой действительности может так прямо и стать литературным произведением; если же в самом его рассказе и было что-либо вымышленное, то это свидетельствовало бы о наличии некоторого литературного замысла у того или у тех, кто трудился над созданием «Несчастных приключений». Книга эта несомненно заслуживает внимания литературоведов.

Еще более заслуживает она внимания историка мировой литературы. Для него «Несчастные приключения» Василия Баранщикова — капля большого потока, выделившегося в океане литературы XVII—XVIII веков. Этот поток состоял из произведений, сюжеты которых черпались из всевозможных рассказов о путешествиях и приключениях в разных странах, особенно далеких малоизвестных, «заморских». Среди таких произведений исключительной популярностью пользовались повествования о приключениях в странах Леванта и в Новом Свете. Сила

этого литературного потока сказалась даже на творчестве таких писателей начала XIX века, как Байрон и Шатобриан; достаточно вспомнить «Путешествие Чайльд Гарольда» и «Корсара» первого, «Рене» и «Атала» второго.

Отдельное место в этом потоке занимали повествования о судьбе пленников, попавших к мусульманам. О том, как давно такие сюжеты вошли в литературу, свидетельствует «Дон Кихот» с его вставными новеллами, да и жизнь самого Сервантеса. О том, насколько эти сюжеты были популярны, красноречиво говорит факт проникновения их на сцену: достаточно вспомнить хотя бы «Похищение из сераля» Моцарта и «Итальянку в Алжире» Россини. Существовали рассказы и о невольниках, отправленных на плантации в Вест-Индию. Остатки этого потока докатились даже до наших дней. Вспомним хотя бы «Одиссею капитана Блада», написанную Рафаэлем Сабатини в 1922 году, или кинокартину «Беглец», которая всего несколько лет назад демонстрировалась на экранах мира. В ней фигурировал французский аристократ, осужденный на ссылку в колонии и проданный на невольничьем рынке во французской же Луизиане. Рассказы о злосчастных рекрутах поддерживались вполне реальными фактами, затронувшими даже жизнь таких людей, как Шиллер и Ломоносов.

Книга Баранщикова — настоящий букет всех этих литературных сюжетов, довольно искусно соединенных в единое повествование. «Несчастные приключения» — еще не учтенная часть очень большого и важного явления европейской литературы XVIII века.

И особое значение она имеет для историка русской литературы. Хорошо известно, что подобная литература у нас оригинальными произведениями почти не представлена. «Эпоха великих географических открытий» — как историки, одержимые европоцентризмом, называли время «открытий» европейскими путешественниками земель, давно и хорошо известных народам других частей земного шара, — эпоха, породившая в Европе литературу путешествий и приключений, втянула в себя Россию деятельностью таких «землепроходцев», как Хабаров, Дежнев, таких мореплавателей, как Беринг, Крузенштерн. Но местности пустынные или заселенные народами, стоявшими на очень низком уровне культуры, не давали особой пищи для занимательных, приправленных специфической «экзотикой» рассказов; а плавания наших знаменитых мореходов были совершены в то время, когда сюжетные «сливки» с подобных путешествий были уже сняты удачливыми литераторами Западной Европы. А, кроме

того, эпоха первоначального накопления и колониализма, какой была по своему историческому содержанию «эпоха великих географических открытий», развернулась и протекла в России во многом иначе, чем в странах Западной Европы, и гораздо меньше задевала жизнь самого народа, что и сказалось в слабости самостоятельного материала для сюжетов, подобных представленным в европейской литературе путешествий и приключений. Характерно, что книга «Нешастные приключения» Василия Баранщикова почти целиком построена на материале, типичном для указанного потока литературы эпохи первоначального накопления и колониализма, как она складывалась именно в странах Западной Европы. Поэтому «Нешастные приключения» — любопытный раритет истории русской литературы. Не этим ли объясняется, если не полностью, то в значительной степени, тот успех, который выпал на долю этого художественно весьма примитивного произведения?

Такой, по-моему, может быть оценка «Нешастных приключений» Василия Баранщикова с исторической и литературной стороны. И все то, что в «Нешастных приключениях» выражено скудно, бледно, отдельными штрихами, в «Повести о страннике российском» Р. А. Штильмарка дано полно и ярко. При этом автор сумел удержаться в рамках первоисточника как со стороны содержания, так и с точки зрения жанровых особенностей. Следует высоко оценить то уважение, с которым автор отнесся к своему источнику: как он пишет, в его работе нет ничего навязанного источнику извне, все действительно извлечено из него и только раскрыто более полно и изложено более выразительно. Эту большую полноту и выразительность автор назвал своим «домыслом». Подобный «домысел» требует очень многого от автора — и со стороны исторической эрудиции и с точки зрения литературного мастерства. Из-под пера автора вышел не беллетризированный очерк, не олитературенная биография, а художественная документальная повесть. Именно документальная, ибо в основу авторского повествования положен реальный документальный материал.

Создавая свою «Повесть», Р. А. Штильмарк много поработал над историческими источниками. Следы этой работы можно обнаружить всюду. Особенно ощутительны они в описаниях Ростова, тракта Москва — Петербург, кронштадтского порта, сахарных плантаций на острове Пуэрто-Рико, Стамбула, Адрианополя, дворца Бецкого; в сведениях о борьбе индейцев против испанцев, о работорговле, об условиях плавания по Средиземному морю торговых кораблей, о болгарских гайдуках, о некрасовцах,

о восстании Зализняка и Гонты. Историческая эрудиция автора «Повести» и умение использовать ее соответственно избранному литературному жанру не подлежит никакому сомнению. «Повесть» дает почувствовать читателю, что злоключения Баранщикова в Вест-Индии имели место как раз в ту эпоху (вторая половина XVIII века), когда именно там начала с особой остротой развиваться борьба черных рабов — основного рабочего населения тех мест, совершившего «замечательную», по выражению Уильяма Фостера, демократическую революцию на Гаити. При описании условий, в которых герой оказался в Турции, в сноске упомянуто известное замечание Кочи бея Гемюрджинского, уже во второй половине XVII века подметившего, что Османское государство «саблей добыто и лишь саблей может быть поддержано». Это замечание помогает представить в более ясном свете потребность империи в янычарском войске, а тем самым делает понятным и стремление завербовать в это войско героя. Вместе с тем читатель как бы наводится на любопытную мысль: в Вест-Индии, где объектом угнетения и эксплуатации являлись негры, то есть чужие, держать их в страхе было надежнее с помощью солдат из своих же сородичей. В Турции же, где объектом угнетения и эксплуатации являлось прежде всего собственное трудовое население, правители считали более надежным иметь под рукой солдат из чужестранцев. И бедному российскому страннику выпало на долю быть вовлеченным в механизм этой «диалектики» угнетения. Быть может, положение героя, злосчастной судьбой приведенного в страну с кричащей роскошью господ, могло быть представлено еще более выразительно, если бы автор «Повести» не поскупился ради лаконизма в описаниях знаменитых киосков и «стиля тюльпанов», то есть дворцов и парков турецкой знати. Роскошь этих дворцов поражала европейцев, знавших Версаль, и послужила причиной наименования Османской империи Блистательной Портой. И ведь правителям ее уже приходилось задумываться насчет надежной защиты своих богатств! Потому и стояли янычары на страже у дворцовых дверей!

Р. А. Штильмарк, ведя свою «Повесть» в духе литературы о путешествиях и приключениях, в одном месте воспользовался литературным приемом «вставной новеллы»: именно такую новеллу представляет глава «Свадьба в Агиос Стефанос». Это — великолепный рассказ о происшествии в духе старых итальянских хроник, свидетельствующий, кстати сказать, о большой распространенности сюжета, который нашему поколению известен, пожалуй, по единственному образцу: по «Ромео и Джуль-

етте». Рассказано это происшествие с таким литературным блеском, что невольно жалеешь о том, что Р. А. Штильмарк ограничился в «Повести» всего одной такой новеллой! Самый прием этот освящен традицией еще со времени «Дон Кихота», а материала в самой «Повести» вполне достаточно. Все элементы типичной испанской новеллы с дуэнями и прочими аксессуарами уже намечены в эпизоде с испанской сеньорой на Пуэрто-Рико. И очень немного пришлось бы сделать, чтобы краткое повествование об Иване Гонте превратилось в настоящую литературную новеллу с захватывающим содержанием. Кстати, и время «Несчастных приключений» не так уж далеко от времени романтизма на русской почве, так что наличие признаков романтического повествования вполне уместно в «Повести».

Наконец, весьма любопытен обыгранный в повести факт «доброхотной» оплаты литературного труда Баранщикова екатерининскими вельможами и меценатами. Ведь нельзя не видеть в этом факте своеобразного отражения общей обстановки, характерной для России второй половины XVIII века.

Это была эпоха еще феодальная, но уже с заметным ростом капиталистических элементов. Явственнее всего, как и в других странах, они проявлялись в экономике: наступил век товарного хозяйства. Товаром становился продукт всякого труда, в том числе и литературного. Пушкин позднее сказал об этом с предельной ясностью: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!»

Однако наряду с элементами развивающегося капитализма в Российской империи времен Екатерины II было еще немало старого. Было оно и в отношении к труду писателя. Когда-то «авторский гонорар» выплачивался писателю в виде кошелька с золотом, брошенного ему знатным сеньором; позднее — золотой табакеркой с бриллиантами, драгоценной «регалией» с «высочайшим» портретом. Наконец по повелению того же милостивого монарха — «пенсией», то есть периодическими выплатами из казны. Примеру монархов следовали вельможи. Именно такими вельможами и были упоминаемые в «жертвовательном листе» лица графского, княжеского и генеральского достоинства. Таким образом в оплате «Несчастных приключений» Баранщикова соединились две формы оплаты труда писателя: старая, феодальная — «жалования» вельмож по степени угодности им произведения, и новая, капиталистическая — гонорар от издателя. Не объясняется ли и само внимание книгопродавца Глазунова к попавшему в поле его зрения произведению чисто коммерческим чутьем предпринимателя нового типа, капиталисти-

ческого, знающего спрос? Учитывая то, о чем так интересно рассказывает здесь Р. А. Штильмарк, можно предположить, что этот коммерсант-издатель хотел еще и некую политическую славу приобрести своей столь похвально патриотической поддержкой «жертвы турецких зверств». Ведь в этом случае «в самый кон» попадала не только жертва этих зверств, не только его повесть, но и издатель!

Источник литературной работы Р. А. Штильмарка «Нещастные приключения» написан языком, характерным для этого рода литературы XVIII века — полукнижным, полуразговорным. Эта форма типична для времени, когда существующая норма литературного языка, образовавшаяся гораздо раньше, уже устаревала, новая же еще не сложилась в ощутимо полноценном виде; как известно, новый русский литературный язык сформировался в начале XIX века. Поэтому автору «Повести» Р. А. Штильмарку никак не следовало пытаться воспроизводить язык своего источника. Это было бы не только неуместно, но и очень трудно, поскольку нет ничего труднее, чем воспроизводить что-либо находящееся в состоянии перехода. Р. А. Штильмарк этого не сделал и поступил совершенно правильно, введя языковые «приметы времени» своего повествования лишь в виде нескольких цитат из «Нещастных приключений». Вместе с тем следует считать достоинством «Повести», что в ее авторскую речь проникло очень мало таких слов, какие характерны лишь для времени написания «Повести» и могли бы нарушить стиль времени и социальной среды «Повести». Автор, с его чутьем языка, старательно избегал подобных «иностраных» для XVIII века слов и фраз.

В целом повесть Р. А. Штильмарка представляет собою незаурядное литературное произведение, и ее издание несомненно поддержит добрую славу Географгиза, уже подарившего нашему читателю целый ряд оригинальных, разных по характеру и в высокой степени интересных книг о путешествиях и приключениях.

Академик Н. И. Конрад

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
От автора	7
Сын купеческий	11
«Пошел на шпиль»	22
Белый раб	31
Под тропиком Рака	46
Пуэрто-Рико	69
Вновь обращенные	81
Из турецкой неволи	90
В скитаниях	99
Янычар Селим	115
Побег	124
Свадьба в Агиос Стефанос	136
Дороженька дальняя	178
Заимодавцы и должник	200
«Нешастные приключения» и эпилог к ним	210
Послесловие <i>Н. И. Конрада</i>	230

Роберт Александрович Штильмарк
ПОВЕСТЬ О СТРАННИКЕ РОССИЙСКОМ

* * *

Редактор *С. Н. Кумкес*
Младший редактор *Г. П. Журавлева*
Художественный редактор *В. Д. Карандашов*
Технический редактор *С. М. Кошелева*
Корректор *А. Н. Михеева*

* * *

Т-02931. Сдано в производство 20/XII 1961 г.
Подписано в печать 5/III 1962 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Печатных листов 7,5. Условных листов 12,3.
Издательских листов 12,48. Тираж 100 000. Цена 37 коп.

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Географгиз
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28.
Заказ № 2515.

**ГЕОГРАФИЗ
ВЫПУСТИЛ В СВЕТ В 1961 Г. СЕРИЮ
„ПУТЕШЕСТВИЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ФАНТАСТИКА“**

- В. АЖАЖА. «Северянка» уходит в океан, ц. 22 коп.
И. ГУСЕЛЬНИКОВ. В стране золотой, ц. 33 коп.
Г. ГРИН. Путешествие без карты, ц. 52 коп.
Б. ЕВГЕНЬЕВ. Стрела над океаном, ц. 30 коп.
И. ЗАБЕЛИН. Пояс жизни, ц. 46 коп.
А. КАЗАНЦЕВ. Лунная дорога, ц. 27 коп.
А. КАРР. Наветренная дорога, ц. 37 коп.
Р. ЛУСКАЧ. Завещание таежного охотника, ц. 47 коп.
Г. МЕЛВИЛЛ. Моби Дик, ц. 2 руб. 18 коп.
А. ФИДЛЕР. Канада, пахнущая смолой, ц. 67 коп.
П. ФРЕЙХЕН. Зверобой залива Мелвилла, ц. 60 коп.

Подготовка к изданию книг серии „Путешествия. Приключения. Фантастика“ осуществляется редакционной коллегией. В ее состав входят ученые, писатели, журналисты:

Акимушкин И. И., Андреев Н. Н., Бережнов В. М., Болотников Н. Я., Бурлака П. Н., Евгеньев Б. С., Ефремов И. А., Забелин И. М., Зенкович Б. А., Казанцев А. П., Новалевский В. П., Кумнес С. Н., Марголин Я. А., Обручев С. В., Сапарин В. С., Смирнов С. Р., Сыроечковский Е. Е., Хвастунов М. В.



37 коп.